

Альберт Лиханов

Голгофа

Посвящаю Анне Ивановне Зыкиной, бабушке моей жены, сохранившей в тяжкие годы войны трех своих внучек.

Автор

Горе горькое по свету шлялося

И на нас невзначай набрело.

Н. А. Некрасов

Глава первая

Раненый

Он отшатнулся, уперся спиной в госпитальную дверь – словно захлебнулся прозрачным воздухом, настоящим пряностями увядшей травы, и солнце ослепило его, такое не осеннему яркое, бьющее в упор, – и он отшатнулся, будто и свежий воздух этот, и солнце толкнули его назад, в полумрак госпитальной палаты, в коридор, пахнущий щами и хлоркой, и от него требовалось усилие – не так-то просто выйти на волю! – требовалось усилие, чтобы преодолеть этот толчок, это сопротивление света и свежести и только тогда по праву вступить в забытый мир.

Он улыбнулся, ощущая кожей лица ласку этого странного сопротивления, улыбнулся блаженно, предчувствуя небывалое счастье, и словно кинулся в воду с громадной высоты: вновь глубоко вздохнул и снова открыл глаза.

Все существо его содрогнулось от такого простого и такого забытого желания: жить. Что-то словно ворвалось в его вены, какая-то бесовская, веселящая страсть, и кровь от этого, кажется, вскипела, подкатывая к вискам тугими, тягучими ударами, и все, что было, оказалось за спиной, вдруг покрылось какой-то туманной дымкой, стало несущественным, неважным, и только то, что сейчас, и то, что станет с ним дальше, было важным и интересным.

Единственное – что станет.

Алексей шагнул вперед, и его качнуло. Он улыбнулся еще и снова двинулся – пять шагов по бетонной площадке перед госпитальной дверью и десять шагов по ступенькам. Внизу, на последней приступке, он сел, утишая клекот сердца и глухие удары крови в висках.

Перед ним был деревянный сарай, изъеденный до черноты дождями, снегом и солнцем, слева висели на петлях похожие на крылья усталой птицы госпитальные ворота, а дальше виднелась улица – булыжная мостовая с промоинами коричневых луж, деревянные тротуары и дома – рубленые, совсем деревенские на вид; городок напоминал громадную деревню, и этот вид нравился Алексею.

Еще в госпитале, с высоты третьего этажа бывшей школы оглядывая узкие улочки городка, в который занесла его судьба, Алексей не раз думал, что таким городкам воевать было все же легче, чем, скажем, Ленинграду. Здесь было мало каменных громадин, самостоятельных и надменных лишь на первый взгляд, а на самом деле уязвимых, неуютных, делавших людей своими жертвами и узниками.

Там, в Ленинграде, замерзала вода зимой – люди ходили к проруби на реку, замерзало паровое отопление – люди умирали от холода и жгли в «буржуйках» мебель, у кого, конечно, она еще была. Замерзала канализация – и начинались болезни.

А вот такие городки, как этот, переносили войну легче все-таки, что ни говори. Печка в каждом доме, вода в колонке или колодце, и не за тридевять земель, а поблизости, ну и до ветру в дощатое сооруженье, которое при каждом дворе, – попросту, без удобств, но надежно и понятно. Ежели дров нет – заборов в городе немало, да и при каждом деревянном доме – в сарайке где-нибудь, забытое с довоенных пор, всегда есть что-то способное гореть в печи. Ну и леса возле таких деревянных городов тоже имеются, они и спасают...

Да, многое переменялось в мире с тех пор, как началась война. Сдвинулось. До войны в каменных домах жить считалось почетом, а в войну побежали люди из тех каменных хором в деревянные халупы. И это только частица разных перемен, частица...

Алексей востро почувствовал: сзади хлопнула дверь, на площадке появилась тетя Груня. Торопливо додумывая начатое, он сказал себе еще раз, что поступает правильно, оставаясь в этом городке, потому что, кроме всего прочего, городок этот какой-то теплый. Видно, от деревянных своих домов, что ли... Теплый не изнутри, а именно что снаружи – треснувшие бревна походят на морщины человеческих лиц, а потемневшие кольца срезов на торцах бревен, и похожие на глаза окна, и наличники, все больше резные, узорчатые, и коньки крыш, то прямые, натянутые как струны, то прогнувшиеся, будто спины старых собак, – все это живое, теплое, дышащее.

– Айда, – просто сказала тетя Груня.

Алексей поднялся и двинулся рядом с ней, сжимая за горловину вещмешок с недельным пайком.

– Констервов дали? – спросила тетя Груня и, когда Алексей кивнул, заговорила, округляя слова, будто сказку ему рассказывала или баюкала, ко сну склоняя. – Поменяем, вот-ка, констервы энти на одежду какую, а одежду какую поменяем у крестьян на овес, а овес проростам до зеленых росточков да и сварим вырост энтот в отвар, вот и будет ладом, зарастут твои раны, нить перестанут, окрепнешь и дальше жить станешь.

Алексей кивал в такт тети Груниным словам, соглашался с ней, зная наизусть ее речь, и чувствовал, как несет его по течению жизни, и с течением был согласен, доверял себя струе этой, несильной, но уверенной, зовущей, чего-то обещающей. И слова тети Груни, сердобольной госпитальной вахтерши, ощущал тоже как часть этой струи, этого течения, влекущего его вперед, в новое начало – смутное, но открывающее перемены, да что там – уже и дающее... вот хотя бы дающее этот воздух пронзительно прозрачный, облегчающий, и солнце, бьющее в упор, и булыжник, издающий под сапогами глухой постук, и лужи с густой грязной водой поздней осени, и кленовый лист – багровый, с желтыми отметинами, и запах прелой травы, врывающийся в легкие...

Алексей вскинул голову, физически ощущая, как силы вливаются в него, и увидел густосинее небо с седыми перьями легких облаков.

Он вздрогнул и замедлил шаг.

Тогда тоже плыли по небу такие же по-весеннему легкие облака, только была зима... Зима, а теперь осень – вот насколько выбило его из жизни и могло бы выбить навовсе, могло бы вычеркнуть из списков живых тем зимним днем...

Алексею Пряхину стукнуло сорок лет, когда ему выдали шинель, а в части, куда он прибыл, – полуторку.

Был Алексей одинок и немолод, с первых дней войны готовил себя к худшему без особого беспокойства: ни плакать, ни горевать по нему некому, и если уж выдастся доля, уготованная многим, надо принять ее как подобает принять судьбу – без ропота и стога. Так ему казалось тогда. А казалось, пожалуй, потому, что готовил он себя к худшему – к моментальной и легкой смерти, а такую смерть одинокому человеку принять легче – схоронили, и все! Некому плакать!

Но, оказалось, худшее не всегда худшее, а гораздо страшней страдания на полдороге между жизнью и смертью, «фифти-фифти», как выражался выздоравливающий сосед-балагур, половина на половину, когда никто не знает, куда тебя отнесет – к тому или этому берегу, даже врачи, когда маешься, плача от боли, когда о смерти молишь бога как об избавлении от всех страданий, – вот тогда по-настоящему понимаешь, что худшее не всегда худшее.

Многие приплывали к своему концу, отмучившись несколько месяцев, надеясь, что выберутся, цепляясь за соломинку надежд, – зачем же эти надежды, зачем обманы судьбы, если все равно смерть?..

Так вот Алексею выдали полуторку, машину загрузили снарядами, и колонна пошла к Новгороду. Пряхин объезжал черные остовы сгоревших машин, следил за впереди идущим грузовиком, который то и дело скрывал неожиданный в январе волглый туман.

Погоду для рейсов старались выбирать похуже, нелетную, и до Новгорода по туману прошли нормально; по туману же вышли обратно, но на полпути дунул сильный ветер, туман как языком слизнуло, и небо очистилось.

По нему шли легкие перьевые облака, плыли странной цепочкой, напоминая ожерелье, и тут из-под того ожерелья выплыли черные точки, превратились в самолеты. Алексею показалось, что он гонит машину не по тверди, а по воде: земля от бомбовых разрывов заколебалась и заходила ходуном.

О зимних бомбежках среди шоферов ходили тяжелые слухи – ведь в сторону с зимника не свернешь, – и Пряхин, знавший их, поначалу, в первое мгновение, подумал, что слухи эти, как всегда бывает в таких случаях, все-таки преувеличены. Земля качалась, но прицелиться, с высоты по узкой дороге было тоже непросто, и бомбы, взметая снег, ложились по сторонам, а колонна неслась вперед.

Но потом бомба угодила в одну из машин, идущих впереди, колонна остановилась, и тут их обложили кольцом разрывов.

Слева от машины Алексея взлетел снежный гейзер, а бомбовые осколки просадили дверцу и вонзились ему в живот.

Счастье, что в кузове не было людей, на этот раз погрузили ящики с пустыми артиллерийскими гильзами – счастье, что не было людей, это нельзя представить, окажись в кузове люди...

Машина дымила. Алексей исходил кровью и левой рукой пытался открыть дверь. Ее заклинило. Тогда он нашел силы перебраться на правое сиденье и вывалиться в снег.

Последнее, что он помнил: правая дверь открылась, и он увидел красный снег.

Его заметили в этой заварушке, подобрали, закинули в кузов шедшей следом полуторки, но бог миловал, осколки не тронули его больше, и врачам удалось Алексея спасти. Но та первая операция была, как оказалось, только началом – в санитарном поезде Алексея оперировали второй раз, а третий – в этом городке, без всякой, в общем, надежды.

Когда его резали первый раз, это было все же естественно. Но потом... Вся его жизнь потом превратилась в сплошную боль – боль днем, боль ночью, боль всегда. Иногда он забывался, но даже в забытии ему было больно, и он приходил в себя все от той же боли, и тогда его окружали врачи, щупали живот, советовались, приглушая голоса, впрочем, голоса они могли бы и не приглушать – Пряхин едва ли слышал половину их слов, пробивавшихся сквозь боль к его сознанию, а потом его снова везли на каталке в перевязочную, и он снова содрогался от боли, которую доставляли всему его телу четыре скрипучих колесика этой проклятой каталки.

Рядом с ним – в полевом госпитале, в санитарном поезде, здесь, в тыловой палате, – мучились такие же, как он, бедолаги, мучились, перенося боль, цепляясь за малую надежду, и их уносили потом, укрыв с головой простынями, не дождавшихся своих надежд, мучившихся напрасно, в этом положении «фифти-фифти», половину на половину, когда до жизни так же близко, как и до конца, и так же далеко тоже... Рядом с ним умирали мужики помоложе, да, пожалуй, и покрепче, к жизни рвавшиеся всей душой и всеми своими силами, – у них были близкие, дорогие люди, было для кого стараться, а вот выбрался он, Пряхин, хотя стараться ему было не для кого...

Разве вот тетя Груня.

Она возникла перед взглядом Алексея как-то вечером, в час бешеного приступа его боли, и мимо не прошла, задержалась. Это уж потом узнал Пряхин, что работает тетя Груня не санитаркой, не медсестрой, а вахтершей, сидит при входе, а после смены обходит госпитальные палаты, чтобы кому водички подать, кому подоткнуть холодное суконное одеяльце, хотя никто ее об этом не просил. Только разве надо просить, когда война, когда люди нуждаются в сострадании больше, чем в хлебе; и неграмотная старуха бродила вечерами между коек, не брезгуя «утку» подать, взбивая подушки, кладя компрессы на жаром пышущие лбы и приговаривая, приговаривая какие-то словечки, то ли убаюкивая ими, то ли сказку какую волшебную рассказывая.

Вот так же вошла она в Алексеев взгляд, в его расширенные болью зрачки.

За спиной тети Груни была лампочка на длинном шнуре под простой железной тарелкой, которая хоть и служила абажуром, но тени не давала, – и в первый раз старуха возникла перед Алексеем в розовом нимбе, заслонив головой лампочку.

«Вот уж и святая!» – подумал Алексей, а святая приложила ладошку к щеке, как-то удобно облокотилась, постояла минуточку, вздохнула и наклонилась к Пряхину, неожиданно сильно, но аккуратно приподняла одной рукой его голову, а другой взбила подушку.

Каждый день после дежурства усаживалась теперь тетя Груня на табурет возле Алексея, смачивала уголком полотенца ссохшиеся, запекшиеся его губы, обтирала лицо, подносила водички, гладила его холодную, неживую руку и приговаривала, приговаривала, не жалея слов, мягких, как хорошая повязка:

– Ох ты золотко, солдатик, Алешенька, да што ты маешься, пронеси господь, третью операцию сделали вить удачно, сам прохессор, бают, зашивал, а раз прохессор, все в порядке будет, глянь-ко, яблочко тебе я принесла, бочок золотой, другой розовый, все кончается, не горюй, вот и боль твоя кончится, изойдет вся до капельки, солнышко-колоколнышко взойдет, зачнется в тебе новый свет, новая заря.

И гладила она и гладила Алексея по холодной руке и добилась-таки своего. Рука порозовела, стала теплой, и однажды Пряхин посмотрел на тетю Груню осознанно и заплакал.

Видно, так уж устроен человек, что, когда ему трудно – он держится, все в себе мобилизует, все свои силы – душевные и физические. А минует это «фифти-фифти», минует половина на половину, когда до смерти так же близко, как и до жизни, когда жизнь свою половинку увеличит, да смерть отступить начнет – тут срывается человек. Даже сильный.

Немолод был Алексей Пряхин, какая же молодость в сорок лет, и прожил непростую, нелегкую жизнь он до этого своего личного дня победы, и не слабый вроде мужик был, а сорвался, что-то лопнуло в нем, какая-то зацепка, какая-то нить, державшая запоры, и заплакал он от слов тети Груни, вроде бы глупеньких, необязательных, простых словечек.

И она заплакала также. Только ее слезы легкие были. Знала тетя Груня, что своего добилась, что теперь выживет это желтый, как покойник, солдат, выживет, потому что боль свою победил, потому что «прохессор» оказался удачливым, и еще заплакала она оттого, что муж ее и сын – оба на фронте, и давно весточки не шлют, и, гляди-ка, вдруг вот так же, как этот бедолага Алексей Пряхин, в госпитале где-нибудь маются, вот так же страдая и мучаясь... Как же могла она, мать и жена, не ходить в палаты после дежурства, как могла не приговаривать своих глупых слов, как могла не помочь Алексею?

Тети Грунин домик был невелик, но рублен в лапу, а оттого на вид коренаст и прочен. За окнами голубели чистенькие занавески, а когда Алексей вошел в дом, весь он оказался под стать занавескам – чистенький и уютный: при входе сундук, застланный холщовой стираной тряпицей, между окон комод, укрытый кружевной дорожкой, на кровати гора подушек – мал мала меньше, под столом домотканый половик.

В углу за занавеской вроде отдельной комнатки, четыре шага на два, и тетя Груня кивнула на нее:

– Вон твоя кельюшка.

– Тетя Груня, как с тобой рассчитываться-то стану? – улыбнулся Пряхин. – Каким златом-серебром?

– И-и, милай, – ответила тетя Груня сердито. – Кабы люди за все друг с дружкой рассчитываться принялись, весь бы мир в магазин превратили. А! Борони нас бог от этого магазину! – Она платок размотала, присела на сундучок и прибавила серьезно: – Тогда уж добро изничтожится! Не станет его.

– Почему? – удивился Алексей.

Тетя Груня строго на него поглядела.

– Потому как добро без корысти. Аль не знал?

Алексей головой покачал, крикнул с досады, что завел неловкий разговор. В тяжелое время она перед ним возникла, в небескорыстное время, уж он-то знает, а ведь вот возникла же с нимбом над головой, хоть и от электрической лампочки.

А что? Не святая? Последним ломтем поделиться готова, к себе привела одинокого солдата – и вон занавесочка в углу: отойди, поживи, попей отвару из овсяного пророста.

Пряхин прошел к комоду, взглянул в зеркало. Тяжелых раненых брил в госпитале парикмахер, и давненько Алексей не видал себя вблизи. Сорок лет, а уже старик, хотя волос еще густ, но побит инеем, а виски уж совсем белы, да ладно, ладно, грех горевать, коли выбрался из такой беды, такой боли.

– Тетя Груня! – сказал весело, комнатку обходя. – Чего тебе подвезти по хозяйству? Дровишек, может? Я ведь шофером пойду – подскажи только, где требуются.

– Да где не требуются! А идти надобно на военный завод, потому как нужна рабочая карточка, там и хлеб, и жиры, а жиры тебе сейчас, касатик, во как нужны.

Пряхин облокотился о стол, взял голову руками.

– И то, тетя Груня, – ответил, подумав, – на военный завод один путь, коли уж списали меня подчистую. Совесть ведь заест после войны-то, а? Все воевали – кто жив, кто погиб, один я только и сделал, что проехал рейс до Новгорода да полдороги обратно. Сказать-то стыдно будет, что воевал. Куда же мне, как не на военный?

Все эти месяцы, пока лежал он в госпитале, пока страдания и боль терзали его тело и душу, только в редкие минуты приходила к Алексею эта мысль: повоевать-то ведь не успел! Жалел, что коли помрет, то вроде бы и зазря, не укукошив ни одного фрица, да что там – не увидев ни одного.

Война как бы обходила его, отталкивала от себя, что ли... Поначалу оградила броней, а когда добился своего – вывела с круга в первом же рейсе.

Теперь, спустя много месяцев, пройдя сквозь боль, Алексей испытывал странное удовлетворение. Все-таки он прав, что своего добился, хоть и с отступлением и с трусостью – да, да, теперь можно назвать все своими именами. Чем же, как не трусостью, были робкие его попытки уйти на фронт?

Дело в том, что до войны Алексей возил важного человека на новенькой «эмке» – Ивана Федоровича. Начальник Пряхина командовал серьезным отделом в наркомате, имевшем отношение к обороне, а потому, как только настала война, не спрашивая Алексея, наложил на него броню.

Уходили на фронт соседи, знакомые, товарищи, а Пряхин ездил с Иваном Федоровичем, и, хотя работы было много, он дежурил один, без сменщика, чуть не каждую ночь спал в гараже, ожидая в любую секунду вызова, все-таки он был обыкновенным тыловым отиралой, тыловой крысой, как звали тогда тех, кто правдами или неправдами уклонялся от фронта.

Алексей однажды заикнулся Ивану Федоровичу про то, что чувствует себя по-дурацки, но тот, добрый в общем-то мужик, выпучил глаза, заорал про воинскую дисциплину в наркомате, про то, что Пряхин является отбывающим воинскую службу, что ему, Алексею, доверено быть важным винтиком в правительственном аппарате, и Алексей сробел, вытянулся перед Иваном Федоровичем. Смолчал.

Война катилась мимо Алексея, а он возил Ивана Федоровича и, когда тот убывал в командировки, возил других начальников – неразговорчивых и угрюмых, как и его «хозяин», чуть ли не совсем уж перебрался в гараж, только здесь чувствуя себя человеком и лишь редко-редко забегая домой.

Когда он шел домой, на улице и дома, в коммуналке, ноги казались ему деревянными. Он стучал ими громко, грохотал сапогами, коря себя за эту неловкость, а оттого становился еще более неловким.

На улице, а дома уже точно, он ловил на себе взгляды женщин не то чтобы осуждающие, но какие-то холодные, скользкие по нему, точно он предмет, вещь какая-то, а не человек.

Ну там, на улице, поди разбери, кто ты такой, а уж в квартире-то все отлично знали, кто есть Алексей Пряхин. Шофер в наркомате. Ведь не нарком. Значит, отирало, тыловая крыса, вот кто...

До войны коридор коммунальной квартиры, где жил Пряхин, всегда был оживленно шумным. Вдоль узкого прохода, у огромного старинного окна стояли столики и тумбочки, составившие длинный-длинный стол, и на этих тумбочках и столиках, выстроившись

неровной штатской шеренгой, обретался с десятков примусов, и наставляли часы, когда все эти примусы сипели бодрыми голосами, выбрасывали синие огоньки, а на каждом дымилась кастрюля или щелкала сковорода горячим маслом.

Когда началась война, примусов поубавилось – кто эвакуировался, кто готовил себе на плитке прямо в комнате, коридор приумолк, женщин в нем толкалось мало. Но все равно они были хорошие, Алексеевы соседки, только вот глядели они теперь на него не по-хорошему, не то что до войны, когда он был гордостью квартиры в своей кожаной скрипучей униформе. И Алексей проходил мимо, коротко, сдержанно здороваясь и убыстряя шаг.

Особенно после того случая.

Его остановила самая добрая, самая интеллигентная среди всех соседок – учительница Мария Сергеевна. Алексей почти месяц не был дома, заскочил на минуту по какой-то надобности, она схватила его за рукав у своей керосинки.

Алексей остановился, неуверенно улыбаясь, кивая старушке. А она неожиданно спросила, часто мигая:

– Я получила похоронку на сына, на Сережу, да, да, – и, не дав ему посочувствовать, не дав ему просто опомниться, без перехода спросила: – Он погиб на фронте, это понятно, все-таки война, а вот вы почему здесь? Вы почему?

Всю эту фразу, сообщение это и этот вопрос она сказала очень тихим шепотом, точно даже и не сказала вовсе, а громко подумала. Алексею пришлось даже напрягаться, чтобы услышать ее, но ему показалось, будто Мария Сергеевна прокричала свои слова.

Он стоял перед ней, сначала глядя ей в глаза, еще по инерции глядя, потом опустив взгляд.

Затем двинулся к выходу.

Что он мог ответить? Проговорить несколько слов, повторить то, что сказал Иван Федорович? Но это был бы пустой звук для Марии Сергеевны. У нее – Сережа... А он – здесь...

В тот же день Алексей снова обратился к Ивану Федоровичу, начальник кричал опять, но теперь Пряхина еще вызвали в кадры, и тамошний начальник кричал ему тоже о дисциплине военного времени, о том, что наркомат приравнен к воинскому подразделению, и даже о трибунале.

Несмотря на крик, Алексей подал начальнику кадров заявление. Но тот закричал еще пуще, даже затопал ногами и бумагу порвал прямо на глазах у Пряхина.

– Не имеете права! – выдавил из себя Алексей и вышел.

– Имею! – крикнул ему вслед начальник.

Вначале Пряхин хотел снова писать заявление, но ему отсоветовал шофер наркома, худой, туберкулезный мужик.

– Будут неприятности, – сказал он. И добавил подумав: – Ты же знаешь, где мы.

Алексей сник, еще больше ушел в себя, ругая за нерешительность, за трусость, в конце концов. Все воюют, а он... Тыловая крыса... Отирало.

Все ниже держал Пряхин голову, все реже появлялся на улице пешком, домой перестал заходить вовсе, да и характер у него резко переменялся. Раньше с Иваном Федоровичем переговаривался, обсуждал то или другое, конечно, о событиях на фронте говорили, а тут начались салюты, и он совсем сваял: пройдет война без него.

Ездили они множество – и по Москве, и в недалекие, и даже в дальние города. И вот однажды в такой поездке произошло у Алексея с Иваном Федоровичем решительное объяснение. Они свернули с дороги, остановились подкрепиться, Иван Федорович принял по маленькой и, видно, чтоб развеселить своего водителя, начал советовать ему поскорей жениться.

– Мужики на войне, Алеха, баб свободных пруд пруди.

Алексей задумался. Впрочем, это Ивану Федоровичу только показалось, что он задумался. Просто Алексей собирал слова, а заодно успокаивал себя, чтобы не брякнуть начальнику непотребного.

– Вот видите, – сказал он, – даже вы меня перестали уважать.

– Ты это чего, Алексей? – вскинулся, не понимая, начальник.

– Да я и сам на себя плюнул, – махнул рукой Алексей. – Война мимо меня катится, а я за вами, выходит, отсиделся.

Иван Федорович открыл рот, чтобы что-то сказать, но смолчал. Потом проговорил:

– Прости, Алексей, уж больно ты угрюм, хотел пошутить, да по-дурацки вышло. Прости.

Пряхин отвернулся в сторону и, не глядя Ивану Федоровичу в глаза, сказал:

– Отпустите на фронт.

Алексей чувствовал, знал точно, что Иван Федорович вскинул кустистые брови, разглядывает его внимательно, но молчит.

– Не могу я больше, – сказал Алексей хрипло.

Тот все молчал, и Пряхин вспомнил, как еще в первый раз, накричавшись, Иван Федорович сказал ему неожиданно спокойно, словно и не волновался и не кричал только что: «А кроме того, жалко тебя, Пряхин, ты ведь как перст одинокий, сгинешь, и поплакать будет некому». – «Ну и хорошо!» – воскликнул Алексей, но начальник опять заорал: «Отставить разговоры!» Вот он такой, Иван Федорович, старый рубака, комполка Первой Конной, – то кричит, то жалеет, то вот молчит, как теперь...

Иван Федорович глотнул, крикнул, верно, выпил и, еще помолчав, буркнул сердито:

– Давай.

Алексей обернулся, теперь уже он разглядывал начальника, ловил его взгляд, хотел слово какое-нибудь придумать, но Иван Федорович сердито жевал колбасу и старательно отворачивался.

Через несколько дней, когда прощались, начальник облапил его, прижал сильно к кожаному наркоматовскому пальто и сказал:

– Давай, Алешка, за двоих! Я ведь тоже...

«За двоих!» Пряхин вспомнил слова эти, сказанные дрогнувшим голосом, и криво усмехнулся. Хоть бы за одного... Убил хоть одного фрица? Шел в атаку? Спас товарища? Сделал хоть что-нибудь стоящее там, на войне?

Пришел на фронт в январе сорок четвертого, при первой же бомбежке залетел под бомбу, еле выскребся на белый свет и вот теперь спрятался за добрую тетю Груню, за свою спасительницу...

«Давай, Алешка!»

Хреновый из него вояка вышел, что и говорить. Встреть он Ивана Федоровича, и объяснить нечего. Ну да ладно. Разве лучше, если бы отсиделся в наркомате? И так стыдобушки хлебнул. Так что ранение свое рассматривал Алексей как наказание за нерешительность, за трусость.

Изумленно приходя в себя, Алексей оглядел голубые занавески на окнах, чистый крашенный пол, покачал головой, разглядывая тетю Груню.

– Чего, голубок, затуманился? – улыбнулась тетя Груня, наливая в стаканы кипяток. – Иль зазноба вспомнилась? Ай, расскажи! Никогда мы про жизнь твою не балакали, сказал только, что бобыль, а как же так – немолодой да одинокий? Иль беда какая случилась, так скажи, поплачь, как тогда, в первый раз, гляди полегчает. – Алексей улыбнулся.

– Ну, тетя Груня, и мастерица ты уговаривать да приговаривать! А балакать тут долго нечего. Была жена-то, была. Да сплыла. К другому сбежала, до войны еще. Ну и бог с ней!

Тетя Груня качнула головой, глаза прикрыла – стала похожа на грустную птицу.

– Не пожалела, значит, тебя, себя пожалела.

– Откуда ты знаешь? – встрепенулся Алексей.

– И-и, милай, – усмехнулась тетя Груня, – тут и знать нечего, все люди на две половинки делятся – на тех, кто себя жалеет, да на тех, кто жалеет других... Пей чаек-то! С калинкой!

Алексей пил чай, вглядывался в свое отражение на медном чайнике и снова чувствовал то, что было с ним днем: минувшее как бы отступает, становится незначительным, и тело наполняется новым желанием жить дальше, начать все снова, пусть вокруг война, пусть горе

и беда еще носятся по улицам. Его-то они уже зацепили, и нечего им больше делать в его судьбе.

Ну ведь может же, может начаться все снова, сначала! И не в Москве, где есть у него комната и в той комнате все его минувшее, а в этом дальнем городке, деревянном, теплом, с доброй тетей Груней-спасительницей.

Может же стать так, что жизнь, отмеренная ему без удач, очень просто и незаметно отчеркнется жирной чертой, а дальше все будет другим – хорошим, ярким, светлым.

А то, прошлое, – Москва, неудачная женитьба и побег жены, больно ранивший сердце, служба шофером у хорошего человека Ивана Федоровича, стыд за то, что он не на фронте, бомба и страдания – все это только первая попытка: ничем не замечательная, средняя, – но ведь первая же, только первая!

Над синей занавеской загустело сумеречное небо, и они сравнялись цветом – занавеска и воздух за окном.

Алексею захотелось запеть или крикнуть во весь голос, и он едва сдержался, поглядел озорным взглядом на тетю Груню и засмеялся, захохотал, обнажив крепкие, сильные зубы.

– Ты чего, соколик? – вскинула брови тетя Груня.

– Да так!.. Ничего... Просто так!.. – ответил он, смеясь.

А все-таки растревожила тетя Груня Пряхина, зацепила словами своими.

Пока говорили, чай пили – ничего не чувствовал он, а лег на прохладную простыню, утопил голову в пуховой подушке, и забытое, вычеркнутое из жизни в глаза к нему заглянуло, из тьмы выступило.

Была у него жена, была. И сам он во всем виноват.

Когда взяли его в наркомат к Ивану Федоровичу, какая-то командировка выпала им в сторону родного сельца Алексея, и начальник отпустил Пряхина на сутки проведать родных, пока он будет разбираться со своими делами в ближнем городе. Вот Алексей и явился – на новой «эмке» и во всем кожаном – хромовые сапоги московского пошива, кожаные штаны, куртка, краги, сверкающие на солнце. Фуражка, и та кожаная.

Отец тогда еще долго признать его не мог, стоял в воротах во фронт – думал, начальство какое подкатило. Этот его приезд и теперь, поди-ка, в селе помнят – все, почитай, у дома ихнего побывали. «Эмку» щупали, а заодно и его, Алексея, потому что блистал он своей кожей навроде «эмки». Вот тогда и заприметил он глазастую Зинаиду.

Как у них тогда все вышло, и не вспомнишь, закрутилось колесом: днем познакомились – Зинаида руку лодочкой церемонно протянула, вечером целовались взахлеб, будто после дальнего перегона до речки добрались, а ночью, в баньке, довели начатое до конца – все как во хмелю, в сумасшествии... Через сутки вернулся Алексей к Ивану Федоровичу, еще через сутки прибыл домой, а в коридоре коммунальной квартиры уже сидит Зинка: сбежала из дому к нему.

Не зря, видно, говорят: как новогоднюю ночь встретишь, так и весь год проживешь. Первая ночь, хотя и не новогодняя, выпала Алексею с Зинаидой заполошная, бестолковая – так они и жизнь общую прожили.

Поперву обнимались, миловались, Зинка на Москву тарасилась, в метро часами каталась. Алексей с работы придет, а хозяйки дома нет. Явится. «Где была?» – «На метро ездила!» Алексей не злился, смеялся: «Молода больно ты!» Зинаида обижалась, надувала губы, но быстро отходила, снова принимались они за любовь – неутомимо, ненасытно.

И вдруг Зинке Москва разонравилась. Метро надоело. И любовь Алексеева вместе с метро. Стала приставать: «Айда на Магнитку! Или на Кузнецкстрой!» Он отмахивался: «Дура! Люди в Москву рвутся, а ты из Москвы». Зинка поскучилась, даже круглые глаза ее вроде меньше сделались. Не углядел за работой Алексей, когда Зинаида мимо него мелькнула. Пришел однажды домой – стол праздничной скатертью накрыт, а Зинаида в комнате не одна, сидит битюг белобрысый, глаза синими блюдцами, как у нее. Вино красное в три рюмочки разлито, но до него не пили.

– Познакомься, – говорит Зинаида. – Это Петро, тоже водитель. Мы с ним в Кузнецк едем, а ты, Алексей, не обижайся. Прощевай.

Сперва Пряхин хотел в драку полезть, осатанел от злобы и от такого бесстыдства, но что-то в нем дрогнуло, он сдержался, подошел к двери, открыл ее:

– Скатертью дорога!

– Зря, – сказала Зинаида, – мы хотели по-хорошему. Вон и вино купили.

Они прошли по коридору коммунальной квартиры под взглядами любопытных жильцов и исчезли из его сердца и его памяти. Так, по крайней мере, казалось Пряхину.

Да так оно и стало в конце концов, только прошло до окончательного исчезновения Зинаиды из сердца Пряхина, как у каждого мужика в таких случаях, немало времени. Пришел он к выводу, что это «эмка» и кожаное обмундирование сильно подействовали на молодую Зинку, на самом же деле ничего в душе ее к нему, Алексею, не было. Вот и весь сказ.

Мучительно пережив эту драму, Пряхин дал себе слово никогда к ней не возвращаться, не вспоминать о Зинаиде, не думать ни при каких обстоятельствах – остался в его душе только шрам да в паспорте штампик химическими чернилами.

И, твердо дав себе слово не возвращаться к этому прошлому, Алексей так и жил, если бы не тетя Груня с ее расспросами...

Пряхин шуранул кулаком подушку, глубоко вздохнул, решив спать, но тут ему пришла в голову занятная мысль.

А что, если, подумал он, тетя Груня не просто так про жену спросила? Что, если хотела она навести его мысли на женщин – ведь может же быть такая военная бабья хитрость или нет?

Сперва больной думает, как бы выжить, как бы выкарабкаться, потом – как бы попить да поесть, а уж потом и о женщине не грех поразмыслить. И, нарушив свое правило, свое твердое слово, неожиданно простив Зинке ее подлое предательство, вспомнил Алексей не последний горький час, а первый: баньку, ядреное Зинкино тело, белеющее в темноте, ее вкусный рот, дышащий жаром, и свою мужичью дрожь...

Он крутанулся на другой бок, хихикнул глупо, приказал себе закрыть глаза и глубоко дышать.

«А что, – подумал Алексей, засыпая, – тетя Груня права: не так уж сложно устроен человек...»

И еще об одном вновь подумал он, засыпая.

О том, что желание остаться в этом городке не случайно. В сорок лет начинать непросто.

Но он начнет.

Попробует все сызнова.

Неделю – трижды в день – Алексей пил по стакану отвара, изготовленного тетей Груней из невесть откуда взявшейся сырой пшеницы. Жижица была мутноватая, безвкусная, клейковатая, и угощение это радости не доставляло, но уже через неделю Пряхин ощущал себя совсем не таким, как в день выписки из госпиталя. По утрам, отцепив ремень, он махал топором, рубил дрова – сначала понемногу, потом побольше и, намахавшись, прислушивался к себе, к тому, что внутри. Странное дело, никакие боли, даже самые слабенькие, не трогали его. Будто склеила его накрепко своим отваром добрая тетя Груня.

В перерывах между колкой дров Алексей наведывался в отдел кадров военного завода – заполнял бумажки, приносил недостававшие документы и через неделю был зачислен водителем в транспортный цех.

Кадровик, однурукий молодой парень, сказал ему, усмехаясь, что в транспортном цехе на балансе шестьдесят лошадей и столько же подвод, двадцать газогенераторных машин с десятком пильщиков чурок для них, а кадры почти сплошь женского рода – мужиков только четверо: два старика да двое после ранений, годные к управлению машиной.

– Старики не в счет, так что посылаем тебя в качестве бутона на клумбу, – усмехнулся парень. – Глади берегись.

Насчет того, чтоб беречься, Алексей поначалу не понял. Разобрался в этом через полчаса, когда вошел с направлением в контору транспортного цеха.

Открыв дверь, Пряхин от неожиданности попятился – на него колыхнулась стена густого дыма и визгливый многоголосый крик, который на мгновение стих, но когда он переступил порог и сморщился, непривычный к табачному дыму, конторка грохнула хохотом.

Слезаясь от махорочного дыма глазами он разглядывал темноватое помещенье и все больше смущался – впрямь попал в самый центр клумбы: вдоль стен на лавках сидели одни бабы. Старые и молодые, они в упор разглядывали его, и под этими взглядами он растерялся вконец и произнес неуверенно:

– Мне товарища Сахно.

Его оглушил новый взрыв смеха, а потом из угла послышалась певучая, нежная речь:

– Так я и есть Сахно!

Из-за столика ему улыбалась чернобровая молодайка с нездоровым румянцем на щеках. Алексей подошел к ней, протянул бумагу, а спина у него прямо-таки дымилась от бабьих взглядов. Он отвечал на какие-то вопросы начальницы транспортного цеха, спрашивал о машине, о ее состоянии, а сам был как бы раздираем на запчасти этими цепкими взглядами за спиной. И вдруг он услышал разговор...

Это не был разговор двоих или троих – говорили, кажется, все, кто сидел за спиной, – все разом, хором, и не было в этой речи фразы, сказанной без отборного мужичьего мата. Пряхин вспомнил слово, оброненное одноруким парнем в отделе кадров, и слово это – берегись! – отдалось в нем болью и непониманием.

Мгновенно, словно трезвея после похмелья, Алексей обернулся к женщинам, сидевшим возле стен, и с тоской удивленного, не привыкшего к такому обороту дела человека спросил:

– Что с вами, женщины?

Сзади, за спиной, стукнули каблуки, чернобровая начальница цеха обошла Алексея, приблизилась к окну, распахнула створки, дым, как вода, потек струей на улицу, и в наступившей тишине Алексей услышал сиплый, простуженный голос:

– А ты похлебай с наше!

Что-то в этом голосе показалось Пряхину сладко-знакомым, он взгляделся в худое лицо, по самые брови повязанное платком, и колени у него подогнулись.

– Господи! Зинаида! – скорее выдохнул, чем произнес Алексей, и снова, как тогда, когда пересек он госпитальный порог, что-то толкнуло его к стенке, словно это сопротивлялась сама судьба его попытке начать все сначала.

Мгновение тишины оборвалось, женщины снова наперегонки заматюкались, защелкали зажигалками, задымили «козьми ножками», а начальница цеха, сменив певучий голос свой на резкий и пронзительный, закричала неожиданно:

– На погрузку, бабы! На погрузку!

Контора быстро опустела, напоследок кто-то крикнул:

– Вот и Зинка жениха нашла!

А Пряхин и Зинаида, напряженно вглядываясь друг в друга, словно пытались в изменившихся, постаревших лицах узнать свое прошлое и не находили, нет, не находили ничего такого, что могло бы напомнить им хорошее и дорогое.

– Ты как тут? – спросил Алексей.

Вместо ответа Зинаида сказала:

– Петро убили.

Алексей покачал головой. Значит, так. Значит, Петро убили.

Он попробовал вызвать в себе злорадство: вот Петро убили, а он жив, прогадала ты, Зинаида, но, кроме этой сухой, не облаченной чувством мысли, ничего вызвать в себе не мог.

– А ты? – спросила Зинаида.

– Ранило. Тут в госпитале лежал, – ответил он.

– Почему не в Москве?

Вот он, этот вопрос, самый злой и самый больной вопрос, какой только могла задать Зинаида, не зная, не ведая, какая в нем для Пряхина таится боль. Вчера, надо же, только вчера он думал о второй попытке, о втором заходе, и все ему казалось правильным, возможным, во всяком случае, вероятным, и он был полон надежд. А сегодня?..

Впрочем, а что сегодня? Ну, встретил он Зинаиду. Невероятно, неправдоподобно, но встретил; жизнь, значит, может подстроить и такую ловушку. Что и говорить, неприятна эта встреча, безрадостна, но в общем-то ничего особенного. Встретил Зинаиду, ну и ладно. Давно он эту Зинаиду вышвырнул из сердца. Вон даже не узнал сразу. Да и теперь вглядывается в нее, и ничто его не тревожит, ни на чуточку даже, хоть и вспоминал он ее вчера, перед сном совсем по-другому.

Ничего не осталось от прежней Зинаиды. Голос сиплый, чужой. Лицо обветренное, незнакомое. Даже губы и те иные – ссохлись, тоньше стали. Просто знакомую встретил, вот и все. Потому он и не в Москве, а тут. Все начинается сначала.

Не-ет! Не так просто сбить его с пути, да еще с такого, какой он прополз. Довоенная комната, Зинаида со своим Петром, Иван Федорович с «эмкой», фронтовой зимник, госпиталь, боль без дня и без ночи – как непрерывающееся, слепящее северное сияние.

Слишком густо он хлебнул, и слишком мало корней у него в этой жизни, чтобы отказался он от своей идеи, от второй попытки, от надежды, что и в сорок лет можно жизнь начать, встретить в ней доброго человека, зажечь покойно и радостно, чтобы круг свой, отпущенный природой, очертить как надо – с любовью, с продолжением своим, детьми, с мыслью, что прожил ты не напрасно.

Так что Алексей сжал губы и ответил Зинаиде сухо:

– Временно.

Он шагнул к двери, мельком обернулся, охватив взглядом всю фигуру Зинаиды – сжавшуюся, усохшую старуху, – и переступил порог.

– Вот едрит-твой! – прошептал он себе, ощутив какую-то опустошенность.

Точно кто-то подслушал его мысли, подкрался сзади на цыпочках и дышит тяжело в затылок.

Не кто-то, не кто-то... Зинаида!

Отчаянно сопротивляясь этому, Алексей чувствовал, как легкость, с которой он жил неделю, куда-то уходит, точно вытекает из него, а взамен наваливается тяжесть. Будто шептала ему Зинаида из-за спины: «А вот и я, вот и я». Алексей махнул рукой и двинулся к гаражу: «Да что я, не сам себе хозяин? Или дитя малое?!» А вслух повторил, качнув головой:

– Вот едрит-твой!

По утрам натошак Алексей пил отвар то из сырой пшеницы, то из проросшего овса, ел пайку хлеба, иногда смазанного непонятным жирком, похожим скорее на вазелин, и шел через весь город на работу.

Стояла затяжная осень, мороз все никак не прихватывал землю, и она расползлась, разведенная нудными дождями, превратилась в жидкую кашу, по которой не только пешком двигаться было трудно и склизко, но и на машине, потому что по глинистой грязи слабосильная газогенераторка вихляла и застревала в первой колдобине.

За день Алексей укатывался так, что, возвращаясь, раз-другой непременно падал – ноги едва держали его, – и являлся к тете Груне грязнущий, как сам черт. Слава богу, хоть старуха задерживалась в госпитале допоздна, и Пряхин успевал помыться, замыть шинель и даже подсушить ее.

Каждое утро начиналось с чистки топки, разжигания круглой печки за спиной кабины, и во время езды требовалось не забывать о дровах и воде, часто останавливаться, да тут еще эта грязь...

Пряхин возил снаряды в ящиках с завода на товарную станцию, весь транспорт грузили и разгружали женщины, но рук не хватало, и им помогали ездовые. Кроме Алексея.

Сердце его заходило, когда он видел согбенные фигуры, которые молча, безропотно передвигаются в сером рассвете. Ему было совестно говорить с возчицами, и он старался обходить их. В самом деле, о чем говорить? Посочувствовать – как тут не посочувствуешь, того и гляди вырвется жалостное слово, а чем кончится? Пошлют куда подальше, хоть и раненый фронтовик. Что толку от пустого сочувствия, коли помочь не можешь, коли самому тебе, не вполне полноценному мужику, помогают? Нет, Алексей обходил возниц, а когда те собирались в кружок покурить и поговорить, слушал их незлую ругань уже без досады и непонимания.

Присев на ступеньку своей машины, он думал частенько о будущем этих женщин. Ведь кончится же когда-то эта война, и все устроится, может быть, у этих баб, и забудут они табак и матерщину, и приступят к самому главному делу в своей жизни – к любви и продолжению потомства, так вот получится ли у них это непростое дело – продолжение потомства после того, как тонны, да что тонны – тысячи тонн снарядов перетягают они на себе, на своей бабьей плоти за эту войну?

Однажды, подумав об этом, он плюнул в грязь, втоптал плевком каблуком, подошел к возчицам, не вступая с переговорами с ними, схватил ящик, поднял его на спину, но до машины едва дотащил.

Он слышал, как громко хрустнуло что-то в животе, острая боль расколола тело. Он едва добрался до подножки своей полуторки, лег на нее, поджав к животу ноги, и едва отдышался.

– Ты как сухая папироска, – обидела его какая-то баба. – Сгорел быстро, а дыму мало.

Какая уж папироска! Неизвестно, что он теперь такое, непонятно, на что пригоден. Слава богу, хоть машину вести может.

В тот день его без конца вбивало в пот, горизонт расплывался. Он притормаживал машину, переводил дыхание, двигался дальше, а на заводе и на станции удивленно разглядывал женщин: сколько же у них жил – и волокут, как волы, тяжеленные ящики, и волокут без писку и стону – молча, сгибаясь только сильнее, когда уж совсем, видать, невоготу станет.

Бывало, транспортный цех – целиком или частично – бросали на другие перевозки. Случилось, Пряхин повез работниц в подсобное хозяйство – зима хоть и задерживалась, а картошку убрать не успевали.

Обратно Алексей мчал порожняком. Газогенераторка разбрызгивала грязь, шлепала, как старуха, по лужам, и слово «мчал» к этой утлой полуторке, конечно, никак не подходило. Да еще Алексей остановился несколько раз, чтобы подкочегарить свою топку, подбросить чурбачков. Особенно тяжело давались машине подъемы, мотор верещал, весь корпус вибрировал, да еще скользили, проворачиваясь колеса, и Пряхин каждый раз, взобравшись на горку, утирал рукавом пот со лба – столько переживаний выжимала из него его дохлая машинешка.

Взяв самый протяжный и крутой подъем, он увидел впереди телегу, развернутую как-то боком. Лошадь лежала, а рядом с ней прямо на земле сидел возница.

Алексей остановился, выпрыгнул в грязь, подошел к вознице и потянул его за рукав, поднимая. Из-под капюшона брезентового плаща к нему повернулось худое лицо, и Алексей невольно передернулся: опять Зинаида! Ее била крупная дрожь, губы посинели, сквозь драные перчатки проглядывали заокостеневшие пальцы.

Лошадь околела прямо в упряжи, и огромный мутный глаз ее равнодушно взирал на низкие облака. Телега была нагружена мешками с картошкой, видно, Зинаиду тоже посылали в подсобное хозяйство.

Пряхин откинул борт своей машины, подошел к телеге, взвалил на плечо мешок, распрямился, прислушиваясь к тому, как напряглось у него что-то в животе. Осторожно переступая, он свалил мешок в кузов.

Сперва Зинаида стояла безучастная, прислонившись спиной к черному баллону газогенераторной установки, но, заметив, как пару раз тяжелый мешок качнул Алексея, стала помогать ему.

Пряхину было трудно. Не остро, как в прошлый раз, а постепенно, точно разгоняясь, боль нарастала в животе тугим, горячим клубком. Он останавливался на минуту, ждал, когда клубок чуточку поостынет, но Зинаида, словно заведенная, волокла мешок за мешком – маленькая, хрупкая, готовая вот-вот сломаться, и Алексей принуждал себя разогнуться и снова взваливать на плечо мешок.

Когда картошку перегрузили, Пряхин распряг мертвую лошадь, прицепил телегу к машине.

Медленно, чтобы телега сзади не перевернулась, он поехал к заводу.

В кабине Зинаида вроде немного отошла, дрожь перестала бить ее, она потно покраснелась, размотала платок, из-под него вылились волосы, единственное знакомое в ней, – русая волнистая река.

Не говоря ни слова, она принялась расчесывать, а потом укладывать их. Краешком глаза Алексей видел эти волны, чувствовал забытый запах, идущий от них.

Он отворачивался налево, вдумчиво вглядывался вперед, стараясь отвлечься от навязчиво-знакомого запаха.

Молча они доехали до завода, у столовой грузчицы сняли мешки с кузова, потом появилась Сахно, устроилась в кабине между Алексеем и Зинаидой, они задымили в две сигарки махрой, и Пряхин повел машину обратно.

Мертвую лошадь полагалось свезти, кажется, на свалку, но втроем поднять им ее было невозможно, и Сахно принялась составлять акт. Неудобно склонившись к рулю, начальница царапала карандашом бумагу, спрашивая у Зинаиды кличку лошади, обстоятельства и время ее гибели. Потом вынула из кармана перочинный ножик, подобралась к лошадиному уху и деловито резанула его.

Алексей вздрогнул, Зинаида отвернулась, а Сахно показала им дюралевый кругляш с номером – бирку, которую надлежало приложить к акту.

Молча они вернулись на завод – лошади часто дохли прямо на ходу, от старости и износу, на их место призывали из деревень новых, помоложе, и все шло своим чередом, так что никто особенно не волновался.

Выбираясь из машины, Сахно попросила Алексея остаться еще на одну смену: сломались две газогенераторки, да несколько подвод, посланных в подсобное хозяйство, еще не вернулись.

Зинаида была все такая же потная, щеки ее покрылись густым румянцем, и, пристально взглянув на нее, начальница кивнула.

– А пока отвези ее домой. Да и сам часок отдохни.

Машина катила по городу, расшлепывала грязь. Зинаида молчала, притянувшись в угол кабины, и Пряхин подумал, что она уснула. Поэтому, когда она заговорила, даже вздрогнул от неожиданности.

– Давай все сначала, – сказала Зинаида хрипло.

Алексей взглянул в угол и увидел горячечно блестящие глаза. «Видать, простыла», – отметил он про себя, не придавая значения ее словам.

– Ну давай все сначала, – проговорила хрипло Зинаида. – Давай уедем в Москву. На черта все это надо!

Алексей ухмыльнулся. «Все сначала». Как и он. Только он хочет начать все сначала здесь, вычеркнув Москву из памяти, а она – вернувшись в Москву.

Пряхин почувствовал, как Зинаида вцепилась ему в рукав шинели, и нерешительно попробовал освободиться. Но Зинаида держалась крепко.

– Понимаешь, – говорила она лихорадочно, приблизившись к его лицу, – я от тебя ушла, но меня ведь судьба наказала, Петра убили. Так что меня можно простить, верно? Извинить. Ведь так? Должны же люди прощать друг друга? А я тебе ножки стану мыть! Верной до гроба буду – только поверь. А здесь мы оба подохнем, понимаешь? Надорвемся и подохнем, как эта лошадь. Надо жить, Алеша! Понимаешь, надо жить!

Тупая и тяжелая боль наполнила живот Алексея. Он вновь дернул рукой, желая освободиться, и снова Зинаида не отпустила его.

Алексей как бы пропустил мимо ее слова. Вся его жизнь казалась ему решенной и понятной. У него есть смысл. Он знает, как жить. А эта Зинаида его не касается. Лопочет что-то. Простыла, видать, оконечела, бедняга.

Пряхин больше не дергал рукой, не пытался вырвать рукав из Зинаидиных пальцев – он хотел только быстрее добраться до ее квартиры, высадить бывшую жену, а потом поскорей очутиться дома, выпить стакан тети Груниного отвара, полежать часок, подобрав колени к животу, – в таком положении боль отступает быстрее, – а потом ехать на работу. Чтобы стало полегче, он склонился к рулю, почти лег на него.

Зинаида замолчала, но Алексей ощущал ее взгляд на своем виске. «Неладно, видать, с ней, – думал он. – Потеряла своего Петра, никак опамятоваться не может, вот и несет чепуху... А может, и впрямь надеется, жалеет, что ушла».

Только это его не касалось, никаким боком не задевало.

Он негромко, чтоб не сбить наступившую тишину, спрашивал Зинаиду, где повернуть, как ехать дальше, у которого дома затормозить, и они остановились перед барачком.

– Идем, – повелительно сказала Зинаида, и Алексей непонимающе взглянул на нее.

– Вытряхивайся, – ответил он, прислушиваясь к звону каких-то колокольчиков. Что-то защекотало его по лбу, он провел тыльной стороной ладони и удивленно оглядел ее: рука была мокрой.

– На тебе лица нет, – сказала Зинаида. – Пойдем, отдышишься, еще целая смена.

Алексей распрямился, но его куда-то повело, а вспомнил он себя снова уже в барачном коридоре, слева, под рукой, Зинаида, подпирает своими плечами. Брякнул о железо ключ, скрипнула петля на двери. Зинаида расстегнула крючки на шинели, подвела к кровати.

Он забылся снова, будто исчез с этой земли, но тотчас вернулся, и блюдечко с горячим чаем вздрагивало перед ним. Алексей хлебнул, хмарь отступила, все стало на свои места: узкая, как щель, комнатенка, фанерный шкаф в углу, Зинаида с распущенными волосами, протягивающая, точно маленькому, блюдечко с чаем.

Пряхин дернулся, стараясь встать, но лицо Зинаиды приблизилось, холодные руки взяли его за виски, поглаживая, убаюкивая, и он задохнулся от ее поцелуя. Зинаида целовала его как-то неумело, словно разучилась или не умела никогда, а в нем все обрывалось внутри, все рушилось. В смятении, еще как следует не выбравшись из забвения, Алексей рухнул в новое забвение, только здешнее, земное, с громом сердца, с тем, что принадлежало ему когда-то, но давным-давно забыто и поэтому вряд ли реально.

Да, вряд ли реально, потому что забытое стремительно кончилось, и, отряхиваясь от бреда, кляня себя за случившееся, он понял, что невозвратное невозвратно и что Зинаида вот таким унижительным способом просила его забыть о прошлом, просила прощения, то есть просила невозможного, значит, нереального.

Его прошиб пот.

Бывает, мужчина пользуется слабостью женщины, а вот с ним вышло наоборот. Зинаида воспользовалась его слабостью, но и он не безгрешен, не без сознания же, черт возьми, был он с Зинаидой, не в бреду, так что нечего клясть ее, надо в ней разобраться.

Но как же? Какое прощение, при чем тут прощение, если у него своя жизнь, а у нее своя, какое прощение, если все, что было между ними, давно забыто, вычеркнуто из их памяти – и его и ее?

Но, может, дело не в том? Просто она боится одиночества.

А он?

Ведь он тоже боится этого одиночества... Нет, не так. Он много лет жил один, был совсем одинок. Он привык к одиночеству, но после этого ранения не хочет возвращаться в свое одиночество. Хочет избавиться от него.

Он хочет избавиться от одиночества, а она боится остаться одна. Не все ли одно, в сущности?

Старые жернова, давно не моловшие зерна ненависти, заворочались внутри Пряхина. Он вспомнил тот день – нарядный, солнечный, летний, комнату, залитую светом и предназначенную для счастья, и стол с тремя рюмками – для него, для Зинаиды и для неизвестно откуда взявшегося Петра.

Его захлестнула ненависть, – сильная, обновленная, будто все то было вчера, а не много лет назад.

– Зачем тебе это? – спросил он Зинаиду.

Плечи ее вздрагивали. Она плакала. И плечи снова покрылись гусиной кожей.

Он натянул на нее одеяло. Вид этих пупырышек, этой гусиной кожи вызвал в нем досаду. Все было так глупо... Бедная Зинка... Она мерила только свое отчаяние, не желая считаться с Алексеем. Она думала, что может заставить его... Чего заставить?

Ах, Зинка, круглоглазая, глупая, забывшая, что время и поступки навеки разделяют людей. Но ведь той Зинки нет. Даже той-то, виноватой, нет. Есть чужая женщина, посторонняя и далекая, полагающая по ошибке, что у нее есть права на Алексея Пряхина.

Когда Алексей вышел на улицу, погода резко изменилась. Небо прояснилось, ярко горела лампа круглой луны, и это сходство с лампой довершал ровный белесый круг, четко, словно циркулем, прочерченный вокруг нее.

Воздух казался отлитым из стекла, он звенел, далеко передавая городские звуки: свист маневровой «кукушки» на станции, мальчишеский выкрик во дворе, глухой кашель прохожего, храп усталой лошади.

Чурбачки в газогенераторной колонке прогорели, едва теплились красными угольками, и Пряхину пришлось ждать, пока новая порция топлива как следует разгорячит двигатель.

Едва тронувшись, Алексей сразу понял, что переменявшаяся погода не только высветлила небо и очистила воздух. Легкий морозец сковал грязь, покрыв лужи пока еще тонкой коркой льда. Опытный водитель, он знал, что это гололед, и вел машину осторожно.

Всю ночь его машина, похожая скорее на паровоз, ползала по притихшим городским улицам, высвечивая фарами путь, встречая такие же газогенераторки и подводы, на которых сидели возчики, и женщины, сидевшие за рулем машины или на краю телеги, находили силы кивнуть ему, махнуть рукой, и Алексей кивал им в ответ, всякий раз прибавляя до возможного предела скорость. Вид этих женщин, усталых и похожих от усталости одна на другую, пожалуй, даже неотличимых друг от друга, вызывал в нем угрызения совести.

Вот они кажутся ему все на одно лицо – это просто оттого, что он еще не всех хорошо знает, – а ведь у каждой своя жизнь, своя судьба, каждая ждет кого-то с фронта, а может, и не ждет уж, но каждая молча тащит свою лямку, покорно, не ропща, прикрывая грубой бранью боль и страдание. Сколько же терпения в них, этих грубоватых бабах, и у каждой боль своя, у каждой своя беда и печаль.

Он попробовал представить первую же встречную возницу в нарядном платье, в туфлях на каблучках и в тонких чулках; он силился вообразить это, не отрывая взгляда от согбенной фигуры на тележном передке – в замурзанной телогрейке и черном, укрывшем лоб платке, – но ничего у него не вышло: телега с возницей проплыла мимо, и женщина махнула ему рукой, небрежно, по принятой привычке, словно отгоняла комара.

Нет, не выходило у него волшебства, не мог он даже представить их, своих знакомых по транспортному цеху, в ином, обаятельном, гожем для женщины виде – даже представить себе не мог.

Телеги и машины двигались навстречу, а Пряхин двигался навстречу им, зная, что он тоже в этой непрерывной цепочке, что он часть колеса, которое медленно кружится по городу, доставляя на станцию тяжелые ящики, до изнеможения оттянувшие руки, а потом вертится дальше, назад, за новой порцией, и так круглые сутки, ночью и днем.

Под утро мороз окреп и гололед усилился. Лошади выбивались из сил, падали, а главным, кто раскатывал дорогу, были все же машины, и Сахно объявила по цепочке, чтобы водители выбрали себе другой маршрут, оставив старый только лошадям.

Легко сказать – другой путь. Все дороги превратились в каток, езда стала сплошным мучением. Но шоферы поторапливались. Брезжил рассвет, скоро на улицах появятся пешеходы, и тогда езда станет совсем опасной.

Рассветало. Несколько раз Пряхин ловил себя на том, что засыпает.

Он останавливался, бегом огибал машину, приседал, подпрыгивал, глубоко дышал, чтобы сбить с себя сонливость, и на полчаса этой зарядки хватало.

В синем рассвете неожиданно повалил густой снег, дунул ветер, ехать стало совсем опасно: снег коварно скрывал лед.

Сгрузив очередную партию ящиков, Пряхин твердо решил, вернувшись на завод, пойти к Сахно и потребовать хотя бы цепи для колес, хотя цепи больше подходили для рыхлой глубокой колеи, а в гололед помогали хуже.

Он ехал, напряженно тараща глаза, снова чувствовал, что его тянет в сон. На краю пологой горы Алексей мотнул головой, стряхивая сонливость, и остановился, осматривая спуск, – это был опасный и скользкий участок. С правой стороны, тоже на взгорке, дымил хлебозавод, так что внизу как бы была небольшая котловина, куда сходились две наклонные дороги – крутая улица, по которой ехал Алексей, и пологий спуск от хлебозавода.

Алексей глянул на заводскую горку – там было пусто. Он осторожно стронул машину вниз.

На скользком склоне лучше всего было не тормозить: машину могло развернуть, а того хуже – опрокинуть, и ехать здесь можно только с твердой уверенностью, что никто не помешает.

Машина катилась, мягко поскрипывая колесами по свежему снежку, и вдруг справа от Алексея возникла легкая тень.

В первое мгновение он даже не понял, что это такое.

Косые, стремительные стрелы снега растушевывали заводскую горку и женщину в белом халате и белом платке. Алексей не раз видел хлебовозчиц – во всем белом, кроме сапог, они таскали по городу белые тележки с хлебом, упираясь грудью в деревянную перекладину. Теперь, ухватившись за эту перекладину, женщина тормозила ногами, упиралась сапогами в землю, но земля покрылась тонкой коркой льда, сапоги скользили, и тяжелая тележка, груженная хлебом, катилась с горки, давила сзади, приближая женщину к машине.

Пряхин уже давно до упора выжал тормоз, колеса машины замерли неподвижно, но газогенераторка скользила по льду навстречу тележке, а тележку несло навстречу машине.

Самое мудрое, что можно было сделать женщине, – упасть, отпустить тележку или вывернуть чуть вбок и снова упасть, но она боялась за хлеб, не хотела оторваться от перекладки, а машина не подчинялась Алексею.

Он увидел ее лицо – раскрытый рот, наехавший на лоб платок. И две черные подробности в белом месиве: колеса тележки и сапоги.

В тишине хрустнула фанера, на снег брызнули буханки хлеба, машина проскользила еще десяток метров, накренилась, земля уплыла набок, и, судорожно сжимая руль, Пряхин понял: все, конец!

Выбираясь из кабины упавшей машины, не замечая хлещущей крови из рассеченной брови, он еще слышал протяжный и жалобный крик.

Когда он подбежал к тележке, женщина уже молчала.

Алексей повернул ее.

Губы крепко сомкнуты, серые глаза открыты, но бессмысленны. Он провел рукой по теплым векам, и женщина перестала смотреть в небо.

Снежинки падали на ее лицо и таяли. Потом таять перестали.

Он вглядывался в ее обыкновенное, худое лицо и думал, что убитая им похожа на возниц с его завода.

Только теперь, в этот миг, понял он, чем так похожи друг на друга женщины, которых он видел. Худобой и синей тенью под глазами.

Пряхин поднял к небу лицо, залитое кровью, и глухой, нечеловеческий вой вырвался из его горла.

Хлестнула тяжкая мысль: «Так зачем я спасся? Чтобы убить?..»

Он был невменяем в эти мгновения, он был лишь обличьем человека.

Сознание работало прерывисто, временами он только видел окружающее, не понимая его. Он путал явь с видениями.

В какой-то миг Алексею показалось, что он тоже умер, – и белые тени, много белых теней встали в кружок возле него. Но это были не тени, а женщины, возившие хлеб в тележках, одетые в белые короткие халаты. Он понял это, когда тени стали поднимать убитую.

Пряхин пришел в себя, отстранил их тяжелым движением окровавленных рук и поднял мертвую.

Белые тени двигались перед ним, указывая дорогу, открывая двери, и с каждым шагом, отдававшимся в голове острой, непереносимой болью, Алексею казалось, что предел его страданию, тоске и вине уже настал и вот-вот он рухнет вместе со своей тяжелой ношей.

Дорога оказалась короткой, открылась последняя дверь, и вся его собственная боль растворилась, уступив место онемению: в небольшой комнате в одном углу он увидел глаза старухи – остановившиеся, ставшие блеклыми, а в другом – лица трех девочек, непонимающие, удивленные.

За что принес он сюда такую беду?

Глава вторая

Грешник

Жил ли он в те дни, в те часы, в те мгновения? Можно ли назвать это жизнью? Или только бредом, только сном, только выдумкой безумца?..

Временами он казался вполне успокоенным. Отвечал на вопросы, ел, куда-то ходил. Но говорил, ел, ходил Алексей словно в тумане: руки, ноги, язык действовали как бы самостоятельно, не управляемые сознанием.

А сознание, мозг, весь до последней клеточки, были заняты только одним – непоправимыми картинками того дня. Да, непоправимыми: ничего, ни одного жеста, ни одной фигуры, ни одной секунды невозможно исправить в тех видениях, которые без конца проходят перед глазами, повторяясь снова и снова...

Когда он вернулся к машине, едва переставляя ноги, ее уже окружила толпа. Чернбровая Сахно, вызванная, наверное, по телефону, о чем-то говорила с милицейским капитаном, старым, сморщенным, как печеное яблоко. Гудел разноречивой голосов.

Окровавленное лицо Пряхина точно означало его виновность – перед ним смолкли и расступились. Начальница транспортного цеха просила его объяснить, рассказать все, как было, но он тупо смотрел на милиционера. Какая-то мысль никак не давала ему оторваться от этой фигуры.

Алексей то проваливался в забытие, и его сильно шатало, то возвращался.

– Пьяный, может? – спросил милиционер, и Сахно что-то ответила, мотнув головой.

Неожиданно Пряхин понял, почему так пристально разглядывал старика милиционера. На боку у него висела кобура с пистолетом.

То, что ему нужно.

Алексей шагнул вперед, наклонился и вцепился в милицейскую кобуру. Старик растерялся, несильно дернулся, Пряхин сунул руку за пистолетом и весь содрогнулся.

Судьба издевалась над ним. Хохотала просто.

В кобуре вместо пистолета был чулок. Обыкновенный, плотно скатанный чулок.

Алексей непонимающе разглядывал тряпку, и милиционер спросил, поняв и только теперь, запоздало, отшатнувшись:

– Чего ты удумал? Чего удумал?..

Мужики-доброхоты перевернули машину, и Сахно кочегарила газогенераторную установку. Шел дымок, пахло мирной печкой, топленной березовыми дровами. Машина завелась.

– Поезжайте, поезжайте, свидетели есть, замер проведен, – говорил Алексею старик милиционер, но до Пряхина его слова не доходили.

– Куда же я? Куда мне? – спросил он бестолково.

– Домой. Вызовут. Ждите.

– Как ждите? Чего ждать? – повторял Алексей.

Сахно с трудом затолкала его в кузов.

Он стоял наверху, оглядывал толпу, всматриваясь в морщинистое лицо милиционера, и снова, снова смотрел на гору, не понимая, никак не понимая, откуда и как возникла убитая им женщина.

Милицейский капитан сказал ему только, будто гора, по которой он ехал, во много раз длиннее хлебозаводской горки и женщина вышла с хлебозавода, когда Пряхин уже ехал и не мог ничего поделаться с машиной, а она не посмотрела на дорогу. Это многое объясняло, но только не Пряхину. Его сознание точно остановилось в ту невероятную минуту: как привидение, возникла из снежной завети женщина в белом халате и белая ее тележка.

Машина тронулась, Алексей сел на дно кузова. Потом лег.

Сахно вела машину неаккуратно – об аккуратности думать не приходилось, – Алексея трясло на рытвинах, но он ничего не чувствовал. Вот теперь он перешел свой предел. В глаза падали снежинки, но он не моргал. Силы оставили его. Он все видел – зрение фиксировало лица и предметы, – но ничего не понимал, ни о чем не думал: отрешенность как бы устранила его из жизни.

Сахно привезла Пряхина домой, он выбрался из кузова и отпрянул смятенно: на пороге стояла тетя Груня.

Она отдежурила в ночь, а теперь глядела, ни о чем не зная, приветливо улыбаясь, что-то пришептывала доброе, едва шевеля губами.

Ах, тетя Груня! Не там ты стоишь, не тому говоришь свои золотые слова! К старухе бы той, к трем девчонкам, тесно прижавшимся друг к дружке в углу. Там бы тебе быть, утешительнице. А ты словами своими разбрасываешься. Говоришь их кому? Убийце!

– Беда, тетя Груня, – выдохнул Алексей, упираясь рукой в дверную притолоку.

Он прошел к кровати, грохнулся на нее лицом вниз. В глазах темнота, только голос тети Груни слышится. Быстро все от Сахно узнала, приговаривает словечки, будто мягкие подушки подтыкает под рваную боль Алексея. Эти слова можно и не слушать, главное, что они есть, – убаюкивают, успокаивают, сыплются камушками по чистым половицам. Проваливался Пряхин куда-то, вновь возникал в старой теплой избушке – ровно был и не был он на этом свете...

Что-то толкнуло Алексея.

В тети Грунином несвязном приговоре возник смысл.

А звали эту гору страдания Голгофой, и взошел он на нее без страха...

Алексей повернулся на спину.

Все та же чистая комнатка с низкими потолками, тетя Груня в позе своей обычной – подбородок в ладошку спрятала. Рассвет синими пятнами в избу глядится.

Тетя Груня вздохнула, сказала громко и внятно, на себя не похоже, будто судила:

– Знаешь, от чего не спрятаться?

Он кивнул, кто ж этого не знает – от сумы да от тюрьмы. Только тюрьма бы ему спасением стала.

– Нет, не знаешь, – покачала головой тетя Груня. – От креста.

– От креста?

– Каждый свой крест несет... Идти тебе надо, Алешенька, хоронят ее сегодня.

Пряхин вскочил. Натянул шинель. Посмотрел на тетю Груню. Осознанно посмотрел, не как вчера. Слово тетя Груня, спасительница, его устыдила.

Конечно, идти. Надо идти.

Что ж, выходит, опять старуха эта, премудрая тетя Груня, права по всем статьям?

Взяла вроде бы за шкурку его да встряхнула, как щенка.

Застрелиться хотел? От ответа уйти?

Нет, ты иди, ступай вперед, да глаза пошире открой, не прячь, открой глаза и посмотри, что ты, хоть и не по злой вине, наделал.

Кивнул Алексей, вздохнул и шагнул к порогу.

Он встретился с похоронной процессией в воротах уже знакомого дома и отступил, прижался к забору.

С тележек сняли фанерные будки, в которых эти женщины перевозили хлеб, и две тележки соединили между собой. Деревянные ручки с перекладинами торчали в разные стороны, посередине был гроб.

Хлебовозчицы держались за ручки, тихо катили некрашенный гроб, и, пересекая черту ворот, каждая смотрела на Алексея.

Они узнавали его, это было ясно без слов, но он ждал страшного – взгляда старухи и трех девочек. Но старуха не посмотрела на Пряхина: она шаталась, голова ее безвольно моталась, сбоку ее поддерживали две женщины в белом. Она прошла мимо, и Алексей понял, что здесь не до него – здесь горе, и сейчас не время разбираться, виновен он или нет.

Девочки шли вслед за старухой. Те, что постарше, держали за руки маленькую, закутанную в белый, видать, материнский платок.

Процессия была небольшой, но заметной: ее большинство составляли женщины в белых халатах, и прохожие останавливались, зная, хорошо зная, что в белых халатах подвозят к магазинам хлеб.

Алексей все еще стоял у ворот. Рядом с ним возник старик, сухонький, сморщенный, белый, словно упавший с неба вместе со снегом, перекрестил удаляющуюся процессию, сказал сам себе:

– Повезли кормилицу. Остались три сироты. Да и четвертая едва ходит.

Будто старик этот вылез нарочно сказать это Алексею, сообщить подробности беды.

Пряхина словно стеганули по лицу, он отдернулся от забора и зашагал вслед за процессией.

Мороз окреп, на дороге было по-прежнему скользко, и тележки с гробом двигались медленно: женщины ступали аккуратно, маленькими, в полступни, шажочками.

Алексей падал – его сапоги разъезжались, – больно стучался, но боли не чувствовал, поднимался и шел дальше. Он немного отстал от женщин, и можно было подумать, что сзади идет виноватый и кается: падает, молча встает и снова падает. Так ведь и было...

На кладбище процессия надолго стала. Могилу предстояло только выкопать – яма не была готова, и Алексей оказался в центре тяжелого внимания. Женщины посматривали на него часто – он как будто мешал им, да ведь и действительно мешал, но, главное, его заметили девочки. Они сбились в тесную кучку. Младшая испуганно таращила глаза, морщила нос, собираясь заплакать, но раздумывала, средняя и старшая, не отрываясь, разглядывали Пряхина. Старшей было лет шестнадцать, уже девушка, средней лет двенадцать, младшей, пожалуй, семь. Пряхин отметил это каким-то задним сознанием, сжигаемый взглядами этих маленьких женщин.

Что было в их взглядах? Ненависть? Пожалуй, у старшей. Средняя и маленькая смотрели скорее с удивлением. С непониманием. Как тогда. Но тогда они смотрели потрясенные. Не понявшие как следует, что произошло. И не Пряхин важен был им, нет. А теперь они глядели на одного него. Глядели, не понимая, почему тут этот солдат без погон? Как он может быть тут?

А старшая: как смеет?

Принесли лопаты, и женщины, сменяя друг друга, начали рыть могилу. Алексей подошел к одной и молча взялся за черенок. Он ощутил острый взгляд зеленых глаз, черкнувших его поперек лица, – женщина выдернула лопату из его руки и отодвинулась. Пряхин стоял с протянутой рукой, непонимающий, униженный. Ему не давали копать!

Он подумал, что это случайность, у женщины могут быть и другие причины, чтобы не дать ему лопату, и подошел к другой. Чернявая худышка отвернулась и отошла с лопатой в сторону. Тогда он попробовал отнять лопату силой. Но противница его, белобрысая, с пухлым, пуговкой, носом, оказалась цепкой и упрямой. Она ничего не сказала ему, только зло сжала губы и всем телом потянула черенок в свою сторону. Пряхин отстал от нее, отошел в сторону и, отшагивая, уловил шепот:

– Замолить хочет!

Замолить! Да уж что там... Моли не моли, словами не поможешь и лопатой не отделаешься, Ему теперь всю жизнь вину свою заглаживать да заравнивать, а как ни заравнивай – все равно вот этот холмик навеки останется.

Разрывалось сердце Алексея, лопалось на мелкие кусочки, не было лопаты ему тут, возле этой могилы, не было ему места рядом с этими женщинами, возле ихнего горя, не может убийца стоять подле гроба убитой и видом своим терзать души ее дочерей... Не может, а должен...

Вспомнил Пряхин утешительницу свою, спасительницу святую тетю Груню, ее жестокие, неспасительные, неутешающие слова: «Идти тебе надо!»

Вот он здесь.

Будь тут, хотя тебе показали выход, будь тут и гляди во все глаза, что ты наделал...

Женщины отрыли яму – неумелую, неглубокую, с покатыми краями.

Открыли гроб – проститься с покойницей. Заплакали нестройно, взхлеб. Алексей вцепился руками в березку – до боли, до крови. Будто кожу с него сдирали – вот чем был этот плач. Но смотрел, не отворачивался. Глаза словно в ледышки превратились.

Навеки запоминал.

Кружок женщин в белых халатах. Посреди кружка две старенькие тележки. Гроб. Рядом три девчонки – не нарочно выстроились по росту. А по другую сторону тележки старуха.

Сухо застучал молоток по гвоздю, потом мягче ударил – задел дерево. Еще один. Много гвоздей не требуется покойнику – только два; крепко его не заколачивают. На веревках съезжает вниз сосновая хата – последнее прибежище. Мерзлые комья о крышку бьют. Крик, пронзительный, как на казни:

– Мамочка! Не надо!

Это старшая. Те, что помладше, держатся друг за дружку, не все еще понимают, а старшая уже девушка, взрослый человек.

Но почему, почему так бестолково устроена жизнь?

Вот он, Алексей Пряхин, одинокий несчастливец, не нужный никому на всем свете, стоит тут живой, а мать, у которой трое сирот, уходит в землю. И убил ее не кто иной, как он, Пряхин!

Плачет девочка, а ведь ей жить, ей в жизнь только вступить, ей мать ох как нужна, и младшим нужна, и бабке старой, а без него можно обойтись, невелика потеря.

Смотрит Алексей, ждет, окоченелый, и вновь мимо него проходят женщины – цепочкой, одна за другой. Которая шаг замедлит и посмотрит открыто, ненавистно, которая исподлобья, а которая мельком, только коснется взглядом лица. Старуха снова не видит его. Старшая не хочет видеть. Две другие – опять удивленно, все не понимая, за что он их так...

Вот пришел и твой черед, Алексей Пряхин.

Все ушли. Остался ты один. Перед тобой холмик, который всю жизнь заравнивать придется.

Прощайся. Ступай к женщине, у которой отнял жизнь, детей которой осиротил.

Еле передвигая окоченевшие ноги, подошел Алексей к холмику.

Встал на колени.

Прошептал истово:

– Прости, женщина!.. Крест мой при мне! Пока жив!

И вспомнил он вдруг госпиталь и то, как, мучаясь и страдая сам и зная, что рядом мучаются и страдают другие, понял постепенно, что худшее, то есть смерть, не всегда худшее в сравнении с болью тяжких ран.

Теперь же, в безысходный свой час, пришла ему в голову мысль, что худшее, то есть смерть, не всегда худшее в сравнении и с жизнью.

Если жизнь вот так, как у него, повернет.

С кладбища Пряхин пришел в милицию.

Старик капитан усадил его напротив и, не выпрашивая фамилии, имени, года рождения, не исполняя тягостного обряда, который предшествует допросу, стал говорить с

Алексеем про ту ночь, про ту тяжелую смену, и как-то так незаметно вышло, что скоро они говорили друг другу «ты», точно старые знакомые, и все-все, кроме разве Зинаиды, знал старик капитан про Алексея. Потом он велел Пряхину подождать, придвинул к себе бумагу, заскрипел, разбрызгивая чернила пером, и дал Алексею подписаться.

– Вишь, какая пачка про тебя, – сказал он, придвигая папку бумаг и вкладывая в нее еще один листочек.

Капитан вздохнул.

– Окончательный вывод, конечно, не за мной одним, – сказал он, – но и свидетели и результаты замеров показывают, что дело будет закрыто. – И добавил, помолчав: – Не казись, солдат.

– Как же так? – проговорил Алексей.

– Да и что толку-то, – будто не услышал его капитан. – Тюрьмой горю не поможешь...

Дома Алексей застал Зинаиду, и это его теперь не удивило. Удивила тетя Груня. Она смотрела на Пряхина с жалкой полуулыбкой, ходила чуть ли не на цыпочках, заставила сестру за стол и вынула из-под фартука бутылку самогона.

Пряхин выпил стакан. Он не ел сутки или даже больше и должен был бы тотчас уснуть от такого количества спиртного, но даже не запянул. На столе дымилась рассыпчатая картошка, стояла мисочка аппетитных огурцов – он поглощал еду, не замечая ее вкуса и запаха, а тетя Груня сказала:

– Прости меня, старую.

Алексей ничего не ответил, посмотрел, не понимая, и она пояснила:

– Прости язык мой...

Вот почему ходила она с виноватой полуулыбкой, в своем доме на цыпочках, заглядывала ему в лицо. Ах, добрая душа тетя Груня! Отправила на кладбище, сказала правду – разве это она виноватая, что правда у Алексея такая вышла, – да сама же и застыдилась, винить себя принялась. Ах, тетя Груня!

Он выпил еще, но самогон не принес облегчения. Вздохнул, отложил вилку. Взялся руками за голову.

Ну хорошо – «не казись»! А что теперь? Дальше как?

Тетя Груня, будто и впрямь волшебница какая, мысли угадывающая, тотчас ответила:

– Уехать вам надо.

Пряхин строго оглядел тетю Груню – «уехать»? Переметнул взгляд на Зинаиду – «вам»? Что-то не очень словечки-то тети Грунины. Чужие какие-то словечки-то получаются.

Старуха всплеснула руками, уловив Алексеев взгляд, затараторила, заприговаривала, заутешала:

– Ой, да конечно, чего это я, старая! Конечно, рассказала мне Зинушка про случайность эту великую вашу, про всю вашу жизнь, правда-ка, погляди, хлобыстнуло ее как, наказало, да и тебя, горемышного, Алешенька; это судьба вас свела, судьба порушила, она и свести старается, болести ваши залечить, а што тебе тутка делать-то теперь, только измаешься, на улицу выйдешь – вспомнишь, пойдешь – и опять вспомнишь, изведешься весь, истаешь, как свечечка, видно, уж богу угодно так, беритесь-ка с Зинушкой за руки, простите прошлодавнее, забудьте тяжелое, возвратайтесь в Москву дальше жить...

Пряхин ухмыльнулся. Спросил устало у Зинаиды:

– Твои труды?

Что-то знакомое, то, давнее, мелькнуло в Зинаиде. Как-то глаза испуганно вскинула, округлила их. Но голосом ответила чужим, сиплым, так и неузнанным:

– Ох, Алеша, повенчаны мы, понимаешь, повенчаны друг с другом несчастьями нашими.

Повенчаны! Сказала! Каждый человек только со своей бедой повенчан. И одному ему с ней расквитываться. Когда счастье, иное дело. Счастьем с другим человеком поделиться всенепременно надо. А бедой делиться грех. Беда на одного. Пришла – расхлебывай, а другому ложки не подавай: горькое это хлебово. Так что ему за свое надо расплачиваться. Зинаида ему и без этой тяжести, без этого груза безмерного не нужна была, не требовалась, а с ним и подавно.

Да и то! Согласись он с ней, с ее словами, что же получится? Без беды своей Зинаиду отталкивал, а беда пришла, и принял... Невелика удаля, небольшой для мужика почет.

Нет и нет, нет и нет!

Досаживали застолье молча. Лицо Алексея посмурнело, посуровело. Морщины заострились, черными штрихами по лицу расплзлись. Молчал мужчина, молчали и женщины.

Потом Зинаида засобиралась. Так бы и ушла, кабы не тетя Груня. Принудила:

– Проводи!

Вышли на улицу, Алексей воздуха хлебнул, закашлялся: все крепче и крепче мороз. Горло обжигает, ознобом бьет.

Должен бы вроде мороз Алексея протрезвить, голову очистить, но все как-то наоборот теперь шло. Вроде глотнул Пряхин не свежего воздуха, а еще самогону. Повело его, зашатало. Голова кругом идет, как в тот миг, когда небо перед кабинкой вбок двинулось. Алексей сжал кулаки, словно держит рулевое колесо и от этих рук только зависит, остановится ли машина. Но нет, ведет ее боком – прямо на тележку, покрашенную для гигиены в белый цвет, – и разлетаются, сыплются во все стороны буханки черного хлеба.

Идет Алексей, и то его вправо заносит, то влево.

– Господи, – шепчет зло Зинаида, – что же творится-то! – А потом другим, ласковым голосом: – Куда ж я тебя такого пущу!

Видит Алексей комнатку-пенал – когда-то как будто был уже здесь! – железную койку, узкую, на одного, понимает, куда явился, хочет назад повернуть, но словно в пропасть падает...

Пропасть глубокая, темная до слепоты, но летит он одно мгновение в какую-то жару, в огненное жерло, и все в нем вскипает...

Алексей вскакивает. Он спал прямо в шинели на той узкой кровати – ему жарко, нечем дышать и пить хочется, будто он тысячу лет не пил.

– Что? Что? – шепчет он со сна и при свете керосиновой лампы видит, как на полу, укрывшись пальтишком, лежит Зинаида.

Она повернулась к нему, глаза ясные – не спала, что ли? – сказала:

– Спаси!

Он не понял. Подумал – ослышался.

– Спаси нас, – повторила Зинаида внятно, – меня и себя. Нет у нас другой дороги, кроме Москвы.

Он встал, пригладил волосы. Опять этот разговор. Взглянул на ходики. Пора на работу. Натянул сапоги. Застегнул крючки на шинели.

Зинаида была тоже готова – лежала одетая.

По улице шли молча, и, пока шли, Алексей не думал о работе. В голову это не приходило. Просто он двигался туда, куда следовало двигаться утром, вот и все.

Только там, в конторке Сахно, вернулась к нему его правда. Чернбровая начальница встала из-за стола, пошла ему навстречу, старательно улыбаясь, и вот эта старательность ее улыбки и растерянные взгляды возчиц, притихших враз, вернули ему все его имущество.

– Вот твои права, Пряхин, машина на месте, разжигай топку.

Алексей внимательно поглядел на начальницу. Потом повернулся и медленно вышел. Что-то он забыл как будто. Что-то не довел до конца. Что-то недоделал.

Машина была разогрета: то ли работала ночную смену, то ли кто-то уже растопил газогенераторную установку.

Все еще медля, собираясь с мыслями, вспоминая, что он забыл, Алексей открыл дверцу и медленно сел за руль.

Вспомнил! Даже не вспомнил – понял. Он взялся руками за баранку и крепко сжал ее. Хрустнули пальцы. Как тогда, там на утренней улице, вырвался из него стон – протяжный, глухой, безнадежный.

Нет, не мог он больше сидеть за рулем, не мог крутить баранку. Навеки не мог!

Он вздрогнул – дверка открылась. Внизу стояла Сахно.

– Может, ты не понял, Пряхин? – спросила она. – Дело закрыто, звонили из милиции.

– Не могу! – прохрипел Алексей. – Понимаешь, ехать не могу!

Он выбрался из кабины. Сахно стояла в пальто, только накинутом на плечи, вздрагивала от холода и молчала. Она должна сказать ему что-нибудь. Обязана. Но она молчала.

– Хорошо, – проговорила наконец. – Иди в отдел кадров. Уволиться трудно, ты знаешь. Даже невозможно. Может, тебя на другое какое дело поставят?

Алексей выполз из кабины, потоптался, хотел что-то возразить, попал взглядом на полторку и осекся. За рулем он не может. И не сможет никогда. Значит, она права, эта чернобровая хохлушка. Надо идти в отдел кадров.

Он шагнул мимо начальницы, потом неуклюже обернулся. Сахно больше не улыбалась. Глядела на него жалеючи. И от этого Алексею стало чуточку легче: на лице начальницы была правда.

Брел по улице Алексей Пряхин – пустой, порожний до дна. Единственное, что умел он, – водить машину. И не так мало на первый взгляд, но и не много, как оказалось.

Что делать теперь? Куда идти? Чем заняться?

Работа была в жизни главной подпоркой. Когда Зинаида ушла, в работу с головой спрятался, не достать, по две смены у Ивана Федоровича баранку крутил: дорога, дорога мчалась под ноги – серый асфальт, шлифованный до блеска булыжник, пыльная щебенка, а то и просто грязь, липкая, вязкая, – по такой дороге ехать все равно что землю копать: вымотаешься и просолишь потом рубаху.

Ну а если работу отнять? Вообще что такое человек без работы? Скотина, жующая хлеб? Тварь, глотающая чужой воздух, мнущая без толку траву, топчущая землю напрасно? Что такое праздный человек, как не паразит, от которого миру один урон, одна мерзость?

Так что была у Алексея подпорка, да вот выбил он ее сам и зашатался.

Пришел домой, отпер дверь, сел за стол и уставился в голубые занавесочки. Тепло в тети Грунином доме, уютно, душевно. Хоть и нет хозяйки – на дежурстве, – а греет Пряхина ее изба, приветливая и добрая, как сама хозяйка.

Непонятно все-таки жизнь устроена. То с добром к тебе – из могилы вытянет, пошлет тетю Груню с ее приговорами и утешениями. А то так двинет – ложись да помирай... Смотрит Алексей за занавески, и мурашки его пробирают: не хочется на улицу выходить, страшит его теперь деревянный этот городок. Вот только тут, в тети Груниной избушке, спасение и оттепель для души. Весь мир для Пряхина здесь замкнулся. Вольный он человек, а как в тюрьме, и пусть тепло тут и уютно, пусть тут оттепель и спасение, но еще и четыре стены здесь, и конец работе, и тоска.

Тетя Груня с Зинаидой на пороге возникли в клубах пара враз. Он не обрадовался, не огорчился.

Посмотрел на Зинаиду пустыми глазами.

Ну и Зинаида! Упирался он, в душу дверь на замок запирает, а для нее все запоры ничем. Вошла к нему без всякого билета. И так и эдак сопротивлялся Алексей, а она будто и не заметила.

Уселись опять за стол. Пряхин посерединке, руки вперед протянул, сомкнул пальцы костлявым крепким замком. Справа тетя Груня, слева Зинаида. По глазам видно – все знают.

Зинаида как будто у тети Груни выучку прошла: руки Алексеевы гладит, в глаза ему безотрывно глядит. Никаких слов не произносит, кроме одного:

– Поехали... – и через минуту опять: – Поехали...

Что бабы делать умеют: голос зараз прежним стал, довоенным – мягким, шелковым. И размыкает пальцы Алексея. Гладит их как-то тепло, хорошо, не настойчиво и разнимает схлестнутые намертво пальцы.

Тетя Груня кивает, оперлась удобно о ладошку, улыбается стеснительно, будто при ней таинство какое совершают, объясняются, мира ищут и она здесь только потому, что мир при ней прочней выйдет и таинство при ней лучше произойдет.

Добилась своего Зинаида: разомкнула Алексеевы пальцы, руки у него теперь ладонями вверх на скатерти лежат.

– Ну-ка, – шепчет Зинаида, – погадай, тетя Груня, нашему Алешеньке, его судьбу предскажи.

Тетя Груня брови вскидывает, водит пальцем по извилинам ниточек на ладони, приговаривает, будто Зинаида ей роль задала:

– А жить тебе, милочек Алешенька, до глубокой самой старости, и будут дети у тебя, трое девочек и мальчик, а помрешь ты с любовью, сердцем утешившись.

Алексей вырвал руку. Резко и зло.

Не слишком ли! Знал, что тетя Груня – добрая душа, но доброта перекидной не бывает. Вчера к тебе добрая, сегодня к Зинаиде, да не просто, а вон как – подыгрывает будто по заказу.

И тут же устыдился. Тетя Груня смотрела на него, улыбаясь, а слезы из глаз так и капали – тук-тук, тук-тук, быстрые, светлые, по-детски чистые.

Он себя обругал, схватил тети Грунину руку, выкрикнул:

– Прости!

Потом взглянул на Зинаиду.

– Ты меня как в Москву-то зовешь? С корыстью? Потому что штампик в паспорте?

Пряхин думал, заплачет Зинаида, доказывать примется, что все это не так. Но она молча головой покачала.

– Пряхин, Пряхин! – горько произнесла. – Ни черта ты не понял. Ни черта!

Он полез в карман гимнастерки.

– Ну тогда! Ну тогда! – Вытащил права свои шоферские, старую, потрепанную книжечку, которую когда-то любил всем сердцем, дорожил которой. Рванул поперек – коленкор треснул, силе уступил. Вот и только-то! Горка бумажных кусочков. – Некуда мне деваться! – сказал Пряхин горько. – Нет у меня дела! Поехали в Москву!

Все равно ему было с кем ехать. Можно и с Зинаидой, раз так просит. Раз хочет – все сначала.

Все – сначала!

Он засмеялся своей этой мысли, и Зинаида и тетя Груня испуганно уставились на него.

Вот так штука! «Все – сначала!»

Был когда-то солнечный осенний день, и небо, глубокое, как чистый омут, когда-то было, а он шел рядом с тетей Груней, держа за горловину старенький вещмешок с консервами, и мечтал, строил планы!

Жизнь у него не удалась, остался бобылем при живой жене-изменщице, от одиночества, от тоски своей устал и решил жизнь начать по новой.

Начать все сначала!

Наивный седой мужик! Жизнь невозможно начать сначала. Ее можно только продолжать. И если уж выпала она трудной, дальше будет тяжелой, так и знай! Про счастье только в сказках говорят.

Да и то! Сколько он всего ждал, как надеялся, а судьба ему в ответ: на-ка выкуси! Жену беглую из сердца да памяти выбросил – на, получи ее в целостности и сохранности – пусть старые твои раны рвет и царапает. Жизни доброй захотел? А на-ка убей человека, прими на душу грех!

Нет, ничего просить у судьбы не надо.

Не надо ни на что надеяться.

Живи, как жил, человек. И помни – снова начать невозможно. Эх, Зинка, да кабы знала ты это, сама от затеи своей отказалась.

Торопясь, впопыхах, захлебываясь, оформляла Зинаида увольнение, Алексево и свое – «в связи с отъездом мужа по месту постоянного жительства», выбивала пропуска в Москву,

еще и еще какие-то бумаги и разрешения, и Алексей тоже ходил по милициям и прочим казенным домам, не вспоминая, не задумываясь, не оборачиваясь, – вперед, только вперед.

Он словно бежал от собственной тени, а если солнце бьет прямо в глаза, в упор, то может показаться, особенно когда торопишься, что она отстала, твоя тень, что ее больше нет. А Зинаида разжигала это солнце, всюю кочегарила: «Москва! В Москве!» И вспоминала про метро, как она одурела от подземной красоты, про улицы и дома – шапка с головы падает. Порой под неумолчный Зинаидин треск ему казалось, что, может быть, он ошибался, а Зинаида права. Москва большой, хорошо ему знакомый город, и там, вдали, быльем порастет его беда, будет новая жизнь, новая забота, он устроится на завод токарем, к примеру, освоит через полгода новое ремесло, а расстояние, время и новые люди – великая вещь, великое лекарство, и он заживет дальше.

Зинаида даже тетю Груню своим этим солнцем ослепила. «Вот война кончится, да мои вернутся, позовете ли?» – спрашивала она, покусывая уголок головного своего платочка – белого, в розовый горошек. «Хо! – кричала Зинаида. – Какой разговор... Не была никогда?» – «Не!» – смущалась тетя Груня. «Много потеряла!» – кричала Зинаида, и можно было подумать, что сама она стопроцентная москвичка.

На поезд садились приступом: хоть в Москву пускали пока что по пропускам, народищу ехала тьма. Немец скребся уже за нашей границей, и жизнь у народа пошла веселей. Возвращались, видать по всему, многие эвакуированные, да и солдатня перла через столицу к фронту – все по виду бывалый народ, похоже, после госпиталей: им еще топать да топать, и многих ждет могилка где-то на чужой стороне, а пока бегают по перрону с чайниками, форсят, бренчат медалями, пошучивают.

Поезд стоял десятков минут, пожилая проводница висела крестом на поручнях, закрывая собою дверь в вагон, грозно орала, что мест нету и никого она не пустит, но тут же ухитрилась пропустить под мышкой симпатичного солдатика, шепнувшему ей на ухо заветное словечко, выпустить на перрон матросика в шикарных клешах и одном тельнике, с лихо надвинутой бескозыркой да еще перемертнуться с ним шуткой.

В просящих, умоляющих позах перед ней стояли люди – военные и штатские, наконец кто-то не выдержал, началась атака, проводница отчаянно заверещала, но прорыв получился, и Пряхин вскочил в тамбур вместе с группой смельчаков. Пробравшись в вагон, он с трудом открыл окно, свесился из него, велел Зинаиде протянуть руки. Она заойкала, неважный, понятное дело, получился бы у нее вид снизу, с перрона, но стыд тут же угас, и под хохот и подначки тотчас собравшихся солдат, давно не видевших дамских туалетов, Алексей втянул ее в вагон.

Тетя Груня! Она стояла внизу, кышкала, как цыплятам, молодым солдатам, разгоняя их, бесстыдников, и у Алексея сжалось сердце.

Вот и все, выходит. Возникла в его полумертвом взгляде незнакомая старуха тетя Груня, а теперь вот уходит навсегда. Гляди не гляди, Пряхин, вслед ей, оставшейся на перроне, а все равно исчезнет она, уйдет из яви в память.

Махнула ладошкой – и все!

Алексей присел в уголок, к Зинаиде. Боевая баба, не узнать. Раздвинула военных, место высвободила не только себе, но и Алексею, и не тычками, не криком, а улыбкой да приговором. Ишь, научилась у тети Груни.

Научилась? А может, обобрала? Можно же вот и так – не тряпку отнять, не кусок хлеба, а улыбку и мягкость.

Алексей провел рукой по лицу. Не больно ли несправедлив к Зинаиде он? Улыбка не вещь – ее не отнимешь. Не умеешь улыбаться – научись; это радость, а не грех, и кража тут ни при чем. Выдумал!

Он взглянул утайкой на Зинаиду. Ухмыльнулся.

Кто она ему?

По бумагам – жена, а по-честному? Вспомнил Алексей езду за город, в подсобное хозяйство, околевшую лошадь, и Зинаида сидит прямо в грязи. И то, что дальше было, вспомнил.

Ох, елки зеленые! Уговорила в Москву ехать, к стенке прижала, впрочем, к стенке прижала не Зинаида, а жизнь – нельзя ему больше шофером, нельзя. В общем, едут начинать по новой, верней, продолжать, а кто они друг дружке, неизвестно. Муж и жена?

Она-то готова, ясное дело. Уступил ей Пряхин, и Зинаида в долгу не останется. Ну а он? Готов?..

Алексей представил, как приедут они в Москву, придут в комнату, где миловались когда-то, любили взаимно и откуда потом ушла Зинаида вслед за своим Петром у всех на глазах, бесстыже Алексея унижив. И вот они снова переступят порог. Войдут в ту самую комнату. Мешки свои бросят. Снимут, он – шинель, она – пальто. Друг к другу подойдут. И что дальше? Как ни в чем не бывало дальше поедут? Переступят боль и позор?

Вагон шатало на стыках, качало, как на волнах.

И правда ли, правда, что они шагнули друг к другу? Через гибель Петро на фронте? Через ревность, ранение и беду Алексея?

Он встрепенулся, и Зинаида погладила его по руке. Алексей не ощутил этой ласки. Полоснуло, будто ножом самое главное.

Вот он все о своей беде. И уехать – это тоже повод. Беда да беда, его да его... Да при чем тут он? Тетя Груня, а ведь ты соврала! «Иди», – сказала она. И он пошел. Получается. И как еще получается! Только ведь не туда идет, не туда бежит.

А разве от себя убежишь?

Вот он в вагоне, вагон покачивает уютненько, и под ручку с разлюбленной Зинаидой прибывает он в столицу нашей Родины город Москву.

Алексей стер пот со лба.

– Тебе жарко? – спросила Зинаида. – Разденься!

Конечно, что скажет она? «Разденься!» Но ему жарко не потому, что в вагоне тепло, а на нем шинель. Совсем не потому.

Как же просьба его истовая, там, на могиле? «Прости, женщина!» Ее нет, она и простить может. А он? Он-то есть, жив, вот тут, в вагоне, потеет – натворил и бегом от этакой беды...

«Иди», – сказала тетя Груня. Иди! И он, выходит, пошел? От самого себя пошел...

Алексей выпрямился. Четверо – старуха и три девочки – стояли перед ним. Стояли и смотрели в упор.

Не было никогда семьи у Пряхина и не знал, что такое забота о других, – о себе все больше промышлял, а много ли одному надо.

Нет, не было у него семейных забот, но была совесть.

– Выйдем в тамбур! – сказал он Зинаиде.

Она пошла охотно, улыбаясь военным, расступившимся перед ней, поняв, пожалуй, приглашение по-своему.

– Вот что, – сказал Алексей глухим, сдавленным голосом. – Вот послушай-ка. Я понимаю тебя. Тебе назад ходу нет. А мне – вперед. Вот так... Ключ под клеенкой, на кухонном столике.

Он распахнул дверь, и ветер со снегом забил тамбур, закружился волчком. Зинаида дико закричала, и Пряхин, уже держась за поручни, крикнул ей отчаянно, зло:

– Да пойми ты, я не могу!

Он больно ударился о мерзлую, кочковатую землю, перевернулся пару раз, потерял ушанку, однако тут же, пока еще мелькали по снегу желтые, расплывчатые пятна света из вагонных окон, обнаружил ее, нахлобучил на голову, ощутив холод железной звездочки.

Поезд неторопливо ушел в темень, обозначился красной точкой фонаря на заднем вагоне и пропал.

Пряхин прислушался.

Посвистывала поземка в прутьях ивняка, ветер поматывал верхушки сосен – и все, никаких больше звуков. Он был один на один с природой и с совестью.

Виноват он теперь перед Зинаидой, но что поделаешь. Тут просто вина, а там... Там не вина, там казнь до самой его смерти, и огромная – выше людей, выше домов, выше неба

даже – беда, от которой беги не беги – не укроешься. Нету ему на земле местечка – укромного уголка или шумной столицы, где можно спрятаться от казни своей. Потому как палач всегда с ним. Палач самому себе он сам, Пряхин.

Он пошел по шпалам в сторону городка.

Поначалу шагалось легко и удобно даже, казалось, шпалы лежат слишком близко друг к другу – приходилось сдерживать шаг. Но скоро – то ли от размеренности ходьбы, то ли оттого, что шаги приходилось делать совершенно одинаковые, – он стал сбиваться, ступать на землю между шпал, запинаться. Дыхание сбилось, Алексей устал.

Ветер дул ему в спину, парусил шинель, задувал ее полы, подталкивал Пряхина вперед, будто торопил. В какое-то мгновение Алексею послышался сзади шорох. Он обернулся, но ничего не увидел и ругнул себя за осторожность: кто тут мог быть в кромешной тьме, посреди голого зимнего поля? Но вскоре Алексей обернулся вновь – с дрогнувшим, занывшим сердцем: сзади кто-то негромко заскулил.

Кто – это было понятно, волк. Пряхин присел на корточки, взгляделся вдоль рельсов, Небо было черно, безлунно, забито тучами, но кое-где просвечивали звезды, и в этом звездном, едва уловимом свечении он разглядел прямо на шпалах двух волков.

Алексей крикнул, и волки отпрянули.

Он повернулся и прибавил шагу. Конечно, если бы волков было много, они давно уже напали. И еще: зима только началась, они не спустили летних запасов, не осатанели от голода, не сбились в злобные стаи, готовые к любому разбою. Да и этим-то двоим за человеком идти пока не стоило.

Впрочем, кто их знает? Может, волки голодают теперь, как люди? И летом сытые не ходят? И нет у них никакого страха?

Алексей торопился, часто оборачивался и раза два видел, как полыхнули зеленым светом волчьи глаза. Хотелось побежать, но по давнему деревенскому поверью Пряхин сдерживал себя. Далеко ли убежишь? А волки, почуяв, что ты прибавил ходу, побегут тоже, войдут в азарт и накинута.

Вполне возможно, рассуждения эти были наивными, но Алексей верил им. На всякий случай он снял ремень, намотал его на руку, пряжкой вверх. Это было последнее оружие солдата, применявшееся, правда, не на войне, а в драке. Пряжка при сильном ударе оказывалась штукой опасной, и, если дрались солдаты, дело непременно кончалось кровопролитием, – так что Алексей сдаваться за так просто не собирался.

Да и не мог он сдаваться! Не хватало еще такого бесславного конца. Ведь и следов потом не найдут. Но не в том дело опять же.

Для тети Груни – в Москву уехал, для Зинаиды – обратно вернулся, для обеих вместе растворился, исчез, смылся. Но и не это опять главное. Долг у него есть. Неоплатный. А расплачиваться надо, надо. И тут какие-то волки, бред, черт возьми...

Алексей оборачивался все чаще, боясь пропустить начало волчьей атаки: это было бы самым страшным.

Когда волки подошли совсем близко, Пряхин остановился и повернулся к ним. Звери сели.

Сердце маятником раскачивалось в Алексее. Поначалу ему казалось, что пронесет, он даже не очень испугался. На худой конец будет же какая-нибудь железнодорожная будка. Можно укрыться в ней. Но перегон оказался длинным, и ничего вокруг, кроме леса, обступившего дорогу черной, непроглядной стеной.

Волки внезапно вскочили. Звери топтались на месте, и Алексей решил, что сейчас они бросятся на него. И тут же услышался далекий шум – это шел поезд.

Он остановился, радуясь шуму, который приближался, – сейчас волки метнутся в сторону. Но они топтались неподалеку, и странное дело: чем громче был шум поезда, тем ближе подступали они к Алексею.

Наконец вспыхнул луч паровозного прожектора. Пряхин прикрыл рукавом глаза, взглянул туда, где должны быть волки, но увидел их рядом с собою, буквально в метре. И были это вовсе не волки, а дрожащие от страха собаки. Они глядели на Алексея какими-то умоляющими глазами. Одичавшие, потерявшие хозяев собаки.

Больно слепя фарами, пронесся паровоз, гугукнул пронзительно, видимо, машинист решил ободрить одинокого путника, и мощный паровозный гудок сотряс деревья – на Пряхина посыпалось снежное крошево.

Состав был товарный, и Пряхин разглядел силуэты танков на платформах. Стволами то друг к другу, то в разные стороны машины несли в себе какую-то подавляющую тяжесть. Поездные колеса ухали на стыках рельсов, эшелон все шел и шел, казалось, что он никогда не кончится. Но вот шум оборвался, повисла тишина.

Алексей свистнул, собаки подошли вплотную. Он погладил их, поискал по карманам чего-нибудь съестного и ухмыльнулся этому произвольному движению: в карманах у него давно ничего не было.

Пряхин пошел дальше, собаки двигались рядом. Откуда они тут, в зимнем лесу? Коли потеряли хозяина, должны бы жить в городке или в какой деревне... Значит, люди обидели их, напугали? А все-таки к человеку жмутся, его ищут.

Лес кончился, мелькнули огни городка. Страх был позади, и только теперь, избавившись от него, Алексей опять вспомнил эшелон.

Танки шли на фронт, а он, комиссованный подчистую, в обратную от войны сторону.

Им – сражаться, ему – расплачиваться за свое...

Железная дорога вползла в городок, навстречу двинулись окраинные домики, укутанные сугробами. Разноцветно, нарядно светились окошки.

Собаки остановились.

Смотрели на Алексея, но не трогались, сидели, точно пришитые. Алексей свистнул им, ободряя, и собаки дружно завильали хвостами.

«Вон какое дело, – подумал он, – значит, просто попутчиками были, а теперь прощаются. Ясное дело, одним по лесу и собакам страшновато».

– Ну давайте, – сказал Пряхин, и собаки словно поняли его. Неторопливо свернули в какой-то переулок.

Тети Груни не было дома, он нашарил под приступком ключ, вошел в дом, разделся и уснул.

Проснулся среди ночи, разомнул глаза, будто прикрыл их, на секунду прервав начатый разговор, увидел хозяйку свою, облокотившуюся на ладонь, и вздохнул.

– Что же ты делаешь с собой, соколик, – спросила тетя Груня, – на какие муки себя обрекаешь?

– Что ты все обо мне да обо мне? – ответил Алексей. – А им какво?

– Горько им, – сказала тетя Груня. – Ох как горько.

Глава третья

Горе горькое

Вот и пришел Алексей Пряхин туда, куда стремился. Знакомый забор, тусклая лампочка в подъезде, грязная лестница на второй этаж.

Каждая ступенька в висках отдается – что скажет он, как скажет?..

Вот и дверь, крашенная когда-то масляной краской. Облупилась, пошла темными оспинами. Алексей постучал. Осторожно, согнутым пальцем. Тишина. Не откликаются. Должно быть, не слышат. Он стучит кулаком.

Легкие, летучие шаги слышатся за дверью, щелкает замок, в темной щели – глаза. Сперва испуганные, потом недоумевающие, наконец ненавидящие.

Пряхин протягивает две краюхи круглого деревенского хлеба, завернутые в бумагу, – выменял на сапоги.

– Это вам.

Дверь хлопает. Он слышит через дверь плачущий голос девушки:

– Не нуждаемся!

Алексей прижался лбом к двери. Вот и пришел, к чему стремился...

Ну а чего ты ждал? Встретят с распростертыми объятиями? Обнимать примутся?

Он тяжело повернулся, пошел вниз – еще тяжелей каждая ступенька. Вроде бы под горку ведут, а идти невозможно. Ноги деревенели. Куда ему теперь? Как?

Вышел на улицу, во дворе старичок, белый, будто со снегом с неба выпавший. Говорит о чем-то с бабушкой. Той самой. Она стоит понурясь, с пустой кошелкой, без интереса старика слушает, мимо Алексея глядит, будто не знает его, не помнит, а голова ее трясется.

Пряхин к старикам подошел. Так подступил, чтобы бабушкин взгляд пересечь. Протянул опять свой сверток, повторил:

– Возьмите.

Старуха на него смотрела – долго, словно постепенно, по шажочкам вспоминая, кто он такой. Глаза слезами заполнились. Она их сморгнула – упали на пальто два стеклянных шарика, раскатились бисером и застыли на крепком морозце.

– Возьмите, – повторил Алексей и почувствовал, как лицо его судорога схватила – свело какой-то неведомой силой.

Старуха протянула руку, не отрывая взгляда от Алексея, приняла хлеб, положила в кошелку, двинулась мимо Пряхина, головой трясая, и исчезла в подъезде.

– Эхма! – воскликнул старичок и повторил: – Эхма!

Алексей шагал быстро, и тень улыбки – не улыбка, только тень – бродила по его лицу. «Взяла!» – радовался он и благодарил, благодарил про себя старуху. Там, у двери, когда девочка, почти девушка, отказалась принять хлеб, его ударило будто. Вспомнил кладбище и те горькие похороны: женщины в белых халатах не дают ему лопату. Они не могли, не хотели простить – хоть и подруги, но ведь чужие же люди, а дочка – кровь и плоть, – разве могла простить она...

Спасибо старухе, спасибо и низкий поклон. Поняла его?

Он остановился. Поняла ли? Очень хотелось ему так думать, но остановился Пряхин от неожиданной, простой и убийственной мысли.

А может, не поняла, да есть нечего – вот и взяла.

Он двинулся дальше не так бодро и быстро, но шаг его окреп. Пусть. Совсем не обязательно понимать его. Не тот он для них человек, чтобы разбираться в его чувствах. Приняла старуха хлеб, и на том спасибо: не оттолкнула. Жизнь теперь, застывшая прежде, как бы дальше двинулась, сделала поворот. Есть теперь в ней Пряхину цель и смысл. Кормить семью эту. Выкормить, спасти, не дать девочкам и старухе совсем потеряться. Это долг его. Затем и прыгал из вагона, затем возвращался. А что прав водительских нет у него, что работы нет – его это забота.

Ноги несли в сторону рынка. Только что тут он сапоги продал, присмотрев взамен тоненькие ботинки, но зато получил две краюхи деревенского хлеба: сапоги из госпиталя выдали ему неплохие, офицерские. Когда возвращался с удачного мена, на краю рынка задержался у карусели.

Бессмысленно и чужеродно выглядела пестрая карусель среди грязного льда и снега. Красные, синие, желтые деревянные лошадки торопились куда-то, оставаясь неподвижными, ветер трепыхал брезентовые, тоже разноцветные края круглой крыши. Между лошадками и огромным красным барабаном, в котором пряталось устройство карусели, на стуле сидел слепой человек в темных очках и наигрывал веселую довоенную песенку:

Крутится-вертится шар голубой.

Крутится-вертится над головой,

Крутится-вертится, хочет упасть,

Кавалер барышню хочет украсть!

Странно и несуразно выглядела эта картина, и Пряхин невольно задержал шаг. Потом остановился.

Слепой резко перестал играть и крикнул:

– Тут кто-то есть?

– Есть, – ответил Алексей.

– Кто ты? – тревожно спросил слепой, снимая ремень гармошки.

– Да так, – растерянно сказал Пряхин. – Человек. Солдат.

– Едешь на фронт? – бодро спросил слепец. В руке у него появилась палочка, постукивая ею, он пробрался мимо цветных лошадок, ступил на землю, подошел к Алексею. Теперь не требовалось перекрикиваться. – А я вот, видишь, «чистый», – тихо сказал гармонист. – Списан подчистую. Закурить есть?

– Некурящий, – ответил Пряхин, – и тоже «чистый».

– Вон оно что! – Слепой не скрывал радости, даже засмеялся. – Свой, значит, инвалид. Чего у тебя? Ноги вроде на месте, по шагам слышал. Руку потерял?

– На месте и руки. Ранение в живот.

Алексей разглядывал гармониста – невысокий, бодрый, вроде даже веселый. Лицо вот усыпано синими пятнышками. Он знал, что это такое. Близкий взрыв.

– А по мне, – говорил слепой, – руку и ногу потерять – плевое дело. Или, как у тебя, в брюхо. По крайней мере, видишь все вокруг. Жизнь продолжается, хоть, может, и хреновая. А тут – будто тебя в могилу закопали. Не видно ни черта! – Он засмеялся, протянул руку: – Давай знакомиться, братишка! Меня Анатолием звать.

Слепой понравился Пряхину простотой, откровением и бодростью. Черт возьми, ему вот этого как раз не хватало, особенно бодрости.

– Играю, а что делать, не знаю, – опять засмеялся Анатолий. – Карусель-то не двигается.

– Почему? – спросил Пряхин.

– Двигатель сбежал. Не подскажешь ли кого?

Оказалось, «двигатель» – это просто человек. Ходит внутри цветного барабана и толкает бревно, которое в ось упирается.

– Дело убыточное, – засмеялся Анатолий, – но держат, карточки дают, правда, не рабочие, а для служащих, ну и зарплату. А что сверх плана – можно себе. Подыщи когонибудь.

Алексей обрадовался.

– Да ты возьми меня.

Анатолий перестал улыбаться, приблизился к Пряхину, ощупал его, сказал обиженно:

– Кончай, братишка, руки-ноги на месте, чего тебе тут делать, иди на завод.

Алексей вздохнул, помотал головой, потом сказал, вспомнив, что Анатолий не видит:

– Не могу.

– Ну, тогда давай! – засмеялся слепой.

И вот Алексей шел к карусели, отдав хлеб. Возвращался к Анатолию. Когда расставались, тот сразу нахмурился. Видно, не верил, что Пряхин придет. Думал, утешил человек, вот и все.

Когда Пряхин вернулся, Анатолий сидел понурясь, уронив голову на гармошку. Карусель выглядела печально и сиротливо, несуразно цветастая в унылом, сером снегу.

– Чего горюешь, гармонист! – крикнул Алексей. – Двигатель явился. Играй!

Анатолий вскинул голову, засмеялся обрадованно, грянул марш.

Он играл и играл, но народ торопливо проходил мимо карусели, никто не обращал на нее внимания.

Стало смеркаться. Анатолий замкнул фанерную дверцу в барабане, чертыхнулся.

– Не везет сегодня! Но ты не горюй, Пряхин. Зарплата идет. Завтра вот только оформим тебя, и порядок.

Алексей заметил возле карусели женскую фигурку. Слепой постучал палочкой, пробрался между лошадок, женщина взяла его под руку. Они неторопливо двинулись вдоль улицы, и Пряхин долго еще слышал громкий голос и смех слепого.

Нет, не такое уж пустое и глупое это было дело – поставить рядом с рынком карусель в те тяжкие, голодные, горестные дни. Вовсе даже не пустое и не глупое.

В будни, особенно когда выдавалась плохая погода, Пряхин с Анатолием скучали, простаивали, но зато по субботам, а особенно по воскресеньям карусель крутилась до позднего вечера, базар оглашался гармошкой, и катились по площади взрывы смеха.

Не было в городке других развлечений, кроме карусели, особенно для детей, и ребячьи – мал мала меньше – с мятыми рублевками в кулаке выстраивалась очередь.

Анатолий брал деньги, отрывал билетки и, когда карусель наполнялась пассажирами, давал Алексею знать, отыгрывая начало туша. Это означало – пора работать. Пряхин упирался грудью в поперечину и начинал раскручивать карусель.

Два момента были самыми трудными в этом деле. Разогнать карусель, а потом, в конце, остановить. Напрягаясь всем телом, упираясь ногами в утопанную и оттого скользкую землю, Пряхин начинал движение. Ему приходило на память детские годы, родная деревня, страда и обмолот, когда пара зашоренных лошадей медленно бредет по кругу. Он походил на этих лошадей, только тут медленно не годилось: надо было стронуть с места тяжелый, отсыревший круг с лошадаками и детьми, а потом, разбегаясь, разогнать его и на такой скорости дать кругов двадцать – двадцать пять. Одно местечко и было легким: когда карусель раскручивалась, он мог, ухватившись за скобы, вбитые в бревно, подскочить и посидеть на бревне минутку-другую. Когда же карусель замедляла движение, он спрыгивал на землю, снова упирался спиной в бревно и останавливал его. В простые дни Алексей не уставал совершенно, а по субботам и воскресеньям он уматывался так, что шел домой, едва передвигая ноги, и все же был доволен работой: рядом, за тонкой фанерной стенкой, беспрестанно слышался радостный, беззаботный ребячий смех. Смех этот пробуждал в нем забытую радость, ощущение счастья и еще что-то, какое-то смутное чувство ожидания. Он не понимал точно, что значило это чувство, но ему помог Анатолий.

Однажды, когда жена его уже стояла возле карусели, он неожиданно жарко схватил Пряхина за руку и сказал:

– Знаешь, мне что кажется, когда они смеются? Что война кончилась!

Алексей вздрогнул, пробормотал: «Да, да!» Он сразу понял Анатолия, понял, что тот угадал, верней, точнее его определил свои чувства. Да, когда смеялись дети и когда он, Алексей, ничего не видел вокруг, потому что был в фанерном барабане, а Анатолий – потому что был слеп, казалось, будто настала победа.

Их свела судьба случайно, Анатолия и Пряхина, но, видать, у многих людей, и у них тоже, представление о победе связывалось с детским счастливым, беззаботным смехом.

Смех слышался ему и ночью, в снах. Причем сон виделся взрослый, обычный; но вдруг он рвался, словно наступал просвет в облачном, мгlistом небе и голубизна смотрелась в глаза, – слышался смех и звук гармошки, игравшей, как и там, на карусели, то туш, то веселый марш, то вальс – Анатолий, как и Пряхин, наигрывался по субботам и воскресеньям до изнеможения, и руки к вечеру у него дрожали точно так же, как у Алексея.

Так что это только казалось, будто работать на карусели – одно удовольствие.

Однажды, вконец умотавшись, Алексей выбрался подышать из своего барабана. Анатолий ловко отрывал билетки, ловко собирал рубли, небрежно совал их в офицерский планшет, висевший через плечо, дети нетерпеливо раскачивались на лошадаках, поодаль толпились женщины – видать, матери. Неожиданно в этой взрослой толпе Пряхин увидел девочку. Ту, младшую.

Месяц, вот уже месяц прошел с тех пор, как отдал он старухе два хлебных кругляша, и ничего больше не смог достать за это время. Заработок на карусели был крохотный, а деньги не в цене – буханка хлеба стоит на рынке две сотни.

Алексей вздохнул, разглядывая издали девочку, потом крикнул Анатолию, чтобы тот повременил малость, и кинулся на рынок. При входе там толкались бабки, торговали самодельными сладостями, и он взял три красных леденцовых петушка на палочках. Девочка все еще стояла среди взрослых, завистливо поглядывая, как рассаживается ребячьи на лошадак.

Алексей наклонился к ней, взяв за руку, боясь, что девочка убежит.

– Ты помнишь меня? – спросил он ее.

Она взглянула на него мельком, не испугалась, не дернулась – кивнула. И петушков взяла, не отказалась. В глазах ее, старушечьи спокойных, мелькнула, но тут же истаяла радость.

– Тебя как же зовут? – спросил Алексей.

– Маша, – ответила она хрупким, готовым сломаться голоском.

– А сестер?

– Лиза и Катя.

– А бабушку?

– Евдокия Ивановна.

Пряхин с шумом выдохнул воздух. Ну вот и познакомились.

– Хочешь, Маша, покататься? – спросил он, но девочка печально покачала головой.

– Не хочешь? – удивился Пряхин.

– Денег у нас нету, – ответила Маша, и Алексей содрогнулся: столько в голосе ее и словах было взрослой заботы.

– Да я тут работаю, – сказал Пряхин, – бесплатно прокачу, сколько хочешь. Пойдем!

Он взял ее за руку, и снова сердце его екнуло: такая тоненькая, истаявшая ладошка легла в его ладонь.

– Ты куда бегал? Ты не один? – спросил его встревоженно Анатолий. – Пора ехать.

– Пора, пора, – бодро ответил ему Пряхин, – и я не один, с девочкой, ее зовут Маша, она будет кататься, пока ей не надоест. Ладно, дядя Толя?

Анатолий рванул мехи, поддержал игру:

– А ну, Маш-ша, поех-хали!

Пряхин усадил девочку на свободную лошадку, спрыгнул в свой барабан, захлопнул дверцу, навалился радостно на бревно. Гармонист играл вальсы, марши, какие-то другие непонятные мелодии, и Пряхин повернул сгоряча кругов сорок, не меньше. Он сбился со счета, какой был положен, и Анатолий не мог подать ему никакого знака – сигнал для начала у них был, а для конца, для остановки никогда прежде не требовался.

Алексей крутил колесо, наслаждаясь детским смехом, принимался глупо смеяться сам, радуясь, что Маша не убежала, что он купил ей трех красных петушков, что он узнал, как ее зовут и как зовут ее сестер и бабушку.

Наконец он остановился, пулей выскочил вверх, лошадкам, в гурьбе ребятишек, столпившихся у выхода, разыскивая глазами Машу. Но ее не было. Испугавшись, бросился по кругу.

Маша сидела, навалившись головкой на лошадиную гриву, и, казалось, спала. Алексей окликнул ее, девочка не отозвалась. Он взял ее за плечи – девочка была без сознания. Пряхин подхватил ее на руки, кинулся к Анатолию, тот испуганно засуетился – что они могли, два мужика? Помогла какая-то тетка. Подсказала:

– Да вы на нее подуйте, укачало, слабенькая. Или лучше снежком височки-то.

Пряхин спрыгнул с карусели, схватил горсть чистого снега, потер Маше виски. Она открыла глаза, непонимающе поглядела на Алексея. Потом подняла руку и посмотрела, тут ли петушки. Встала и покачнулась, как стебелек. Алексей перевел дыхание, и его словно прорвало:

– Машенька-голубушка, да что же такое с тобой, какая такая беда-напасть на тебя напала! А ну мы ее сейчас прогоним, ух ее, проклятушую...

Он не чувствовал, не понимал, что говорит тети Груниными словами, пока Маша его не оборвала:

– Что вы, дядя, я ведь не маленькая! – и посмотрела на него спокойными, старушечьими глазами. – Просто я не ела со вчерашнего дня.

Алексей присел перед ней на корточки, схватил тонкую ручку, сжал ее, наверное, сильно сжал – Маша тихо ойкнула.

– Пойдем! – приказал он повелительно, и Маша послушалась, сама взяла его за руку.

Этот жест, это движение подкатили к горлу Алексея тяжкий ком. Все, что угодно, готов он был сделать для этой девочки. Снять шинель, гимнастерку, остаться голым – только накормить, любой правдой накормить ее теперь же, тотчас.

Подходя к карусели, он вытащил из кармана деньги, бросил взгляд на жалкий, мятый комок, сказал Анатолию:

– Одолжи!

Тот безропотно снял планшет, протянул ребячьи рубли, которые сдавал каждый вечер в сберкассу.

– Бери!

– Нет, – сморщился Пряхин, – только не это.

Анатолий полез в пистончик, укромное местечко для карманных часов, которые давно никто не носил, но пистончики шьют, вытащил сложенную во много раз тридцатку.

– Больше ничего.

– Подожди, я сейчас, – попросил Алексей.

Пряхин так и не выпускал из ладони Машину руку – теплую, легкую, как перышко: он притянул ее, девочка послушно двинулась рядом.

В торговых рядах Алексей взял литровую бутылку молока, выпросил у торговки кружку, усадил Машу на чей-то мешок, купил две ватрушки и присел рядом с девочкой, глядя, как она дует, чтобы согреть холодное молоко.

– Погоди-ка, – остановил ее Алексей, торопясь, волнуясь, отчего-то расстегнул ворот гимнастерки, сунул бутылку под мышку.

Девочка улыбнулась, спросила:

– Холодно?

– Ничего, – ответил Пряхин, – я горячий. Да и карусель кручу, тепла у меня хоть отбавляй.

Маша жадно кусала ватрушку, смотрела на Алексея в упор, и Пряхин почувствовал, как запершило у него в горле. Он отвел глаза.

Не было у него детей до седых лет. Не было, что поделаешь, и виноват в этом он сам, не Зинаиду же винить. Мог и до Зинаиды своей беспутной давно уж семью завести и детей, конечно же, – о детях он мечтал, но никогда не думал об этом так пронзительно и остро, как теперь, разглядывая Машу.

Господи, какую же беду принес он этой тоненькой, прозрачной, как лепесток, девчонке – всю меру, всю глубину беды своей она еще, пожалуй, и не понимает.

Она не понимает, но знает и понимает он, взрослый человек, виновный, виновный, виновный в том, что Маша не ела со вчерашнего дня, что под глазами у нее темные, как спелые вишни, синие полукружья, а ладони прозрачные на свет.

Весь день Пряхин мучился, не зная, как ему быть.

Он толкал карусель, шел по своему бесконечному кругу, как лошадь на току, и мысли его тоже по кругу вертелись, по одному и тому же кругу – не сворачивая в сторону, не останавливаясь.

Дело ясное, карусель неплохая прибавка к пенсии и может его прокормить, но только одного его, да и то под обрез.

Что же делать? Пойти в другое место, найти работу повыгоднее? Можно было и так, и работа бы ему нашлась, без сомнения, но как же тогда Анатолий?

Странное дело, как быстро сводит жизнь людей. Давно ли Пряхин и понятия не имел ни о каком гармонисте? И вот – поди ж ты! – не представляет себя без Анатолия, без его музыки, без веселого голоса и непрерывного смеха.

Слепой инвалид обладал какой-то неясной силой, которая незримо, невидимо, но упорно и мощно заставляла Пряхина жить в странно оптимистическом ритме. Анатолию было тяжело, он мучился слепотой, с трудом переносил темноту. Но ни на минуту не расслаблялся. Смеялся и играл. Играл и смеялся.

– Слышал радио? – кричал каждое утро Пряхину Анатолий. – Ну немчура пляшет! А! Здорово наши гнут! – И Алексей заражался его радостью. Анатолий жал кнопки своей гармошки, музыка разрывала утреннюю тишину, а Пряхину хотелось обнять своего гармониста: ведь тот приучал его радоваться. Снова радоваться в этой жизни.

А теперь получалось – его надо бросить? Вот и ходил Пряхин по одному кругу – что же делать, как быть?

Под вечер гармошка Анатолия надолго смолкла, а потом в проеме фанерной дверцы возник он сам.

– Слышь! Братишка! – крикнул он, как всегда, уверенно и весело. – А что за девочка? Чего ты так бросился? Дочка командира, может? Довоенных друзей?

Эх, Анатолий, как и сказать-то...

– Мать я ее задавил, понимаешь, – тихо произнес Алексей. – На машине. Две сестры у нее да бабка. – Гармонист молчал, бессмысленно стараясь взглянуть в Пряхина. Лицо его вытянулось и замерло. – Вот такие-то дела, – произнес Пряхин. И добавил: – Братишка...

Анатолий все стоял в дверном проеме, неудобно согнувшись, напряженно повернул лицо к Пряхину, потом выругался.

– И молчит! – закричал он. – Надо же, молчит! Запер в себе! На замок! – И оборвал неожиданно: – Нюра!

Послышались шаги, рядом с Анатолием появилась его жена, взяла под руку, готовая вести домой, но он сказал громко:

– Надо Алексея на хорошую работу устраивать, чего он тут дурака валяет! Ему жратва нужна, много жратвы! У него, оказывается, семья – четыре человека!

– Может, к нам, – поглядела Нюра на Пряхина.

– Какая у вас жратва, – не согласился Анатолий. – Уголь да бревна разгружать, представляешь?

– Иногда приходят вагоны с картошкой и капустой, – не согласилась Нюра. – И ночью можно.

Вот! Это подходило Пряхину. Бросать Анатолия нельзя, ни за что нельзя, а подработать ночью – милое дело.

Гармонист шел, ухватившись за Алексея и жену, вел его домой, не отпуская от себя, и Пряхин радовался, что теперь, пожалуй, порядок.

После ужина Анатолий поднялся из-за стола, ощупывая кончиками пальцев стенку, подошел к комоду, открыл ящик, повернул лицо к Нюре:

– Не возражаешь?

– Проживем, – бодро ответила Нюра, и Анатолий обрадованно засмеялся, крикнул:

– Конечно, проживем. Все же пенсия. Да и карточки.

Он вернулся за стол, прижимая к груди красную книжку, протянул ее Пряхину.

– Держи, Алеха! – крикнул он. – Мы от этих денег не разбогатеем, а ты буханку хлеба возьмешь. В месяц на одну наскребется.

Алексей ничего не понимал, какую такую книжечку сует ему гармонист, потом раскрыл ее. Орденская. И сколько тут записано: боевое Красное Знамя, два – Отечественной войны, Звездочка, медаль «За отвагу».

– Да ты герой! – растерянно произнес Пряхин.

– А что? – охотно согласился Анатолий. – Глаза свои не задаром потерял. Покрошили мы их крепенько!

Он засмеялся. Положил перед Пряхиным стопку купонов – за ордена платили. Алексей отодвинул книжки:

– Не возьму. Нельзя. Я сам.

– Сам, сам, – недовольно передразнил его Анатолий. И вдруг принялся торопливо уговаривать: – Бери, Алеха, бери, я тебя понимаю, ты сам должен, сам, но и эти деньги не мои. Получать неудобно как-то, не за то же я глаза терял, а и отказаться нехорошо. Но вот детишкам – в самый аккурат. Мы же за них воевали-то! За них!

Не все понял Пряхин в этой сбивчивой речи, а что недопонял – почувствовал. Бережно положил в карман денежные купоны за ордена. Поглядел на друга. Эх, Анатолий! Ну а теперь на разгрузку пора. Самому пора.

Нюра повела его к железнодорожному тупичку возле реки.

При тупичке стояли продовольственные склады, высились штабеля бревен и горы угля. Дело было простое – уголь требовалось выметывать из вагонов совковой лопатой в эти горы, бревна сгружать в штабеля, а продукты относить на себе в склады.

Нюра подсобила – в первый же вечер устроила Алексея на выгодную разгрузку; как раз пришли вагоны с капустой.

Алексей набивал мешок, волок капусту до склада, ссыпал там в груды и снова шел к вагону. Мимо мелькали молчаливые тени таких же, как он, грузчиков, разного роста, безликих в темноте. Только раз сумрак отступил. Свет железнодорожного фонаря, в котором билось пламя свечи, выхватил измученное лицо со впалыми, небритыми щеками и глазами, вылезшими из орбит. Человек непонятного возраста расколол капустный кочан и жадно, с хрустом выедал мороженую сердцевину. У мужчины было отрешенное лицо, сосредоточенный взгляд, тронутая голодом желтая кожа...

После того как последний вагон опустел – не раньше, – точно по молчаливому уговору, тени кинулись к вагонам. Нюра предупредила Алексея, чтобы не зевал, но он все-таки прозевал, не понял сразу, что означал этот бег теней, и долго потом наткнулся на короткое и злое:

– Занято!

Наконец он нашел вагон, из которого ему ничего не сказали, забрался внутрь и на ощупь стал собирать в мешок отпавшие капустные листья. Ему повезло, за ночь он набрал полную торбу и на рассвете, получив к тому же расчет за разгрузку, измотанный, пошел в город.

Дорога от тупичка шла круто вверх, и, спотыкаясь, поскользываясь, Алексей видел, что впереди него спотыкаются и поскользываются люди с мешками и авоськами капустных листьев – великой, огромной удачей.

Старая, обшарпанная дверь открылась сразу, точно Пряхина ждали. На пороге стояла бабушка, трясла головой. Он внес мешок с листьями, прислонил его к стенке, выпрямился и неуверенно улыбнулся.

– Спасибо, солдатик, – прошептала бабушка, и Алексей покрылся потом, подумал было, старуха издевается над его подношением, но тотчас понял, что ошибается, что она всерьез.

– Молчи, бабушка! – сказал он дрогнувшим голосом.

– Молчу! – кивнула Евдокия Ивановна, поняв несказанное. – А спасибо.

Алексей отер со лба пот, отступил к порогу, чтобы уйти, но старуха остановила его:

– Загляни.

С занявшимся сердцем он вошел в комнату, снял ушанку, на цыпочках подобрался к стулу, сел.

Комнатка была опрятная, но бедная – фанерный шкаф, железные госпитальные койки, комод, обычный в каждом доме.

В тот страшный его приход он ничего не заметил, кроме глаз, устремленных на него. И сейчас, разглядывая комнату, Пряхин ощущал, как снова, словно тогда, его окатывает горячий туман, а сердце замирает и останавливается.

Неожиданно он вспомнил московскую соседку, учительницу Марью Сергеевну. Было что-то общее с ней у бабушки Ивановны. Такая же седая, такое же лицо, изможденное, усохшее от голода и горя. Нет, конечно же, они вовсе не были похожи, нет. Просто вроде наваждения. Точно Марья Сергеевна пришла сюда, сидит вот в этой комнатке, смотрит на него, голова у нее вздрагивает, словно после контузии, и он ждет, что она сейчас повторит уже сказанное однажды: «Вы почему?»

Но седая старуха, сидевшая на железной кровати, показала пальцем на стенку:

– Вот она, сердешная.

Над комодом висела фотография в рамке: военный с ромбиками в петлицах и женщина с короткой завивкой.

– А это Ваня-соколик. Командир, пограничник. В июне же и погиб.

Алексей опустил голову.

– Вот Аня и пошла на хлебозавод, – рассказывала бабушка Ивановна голосом ровным, спокойным, словно все это давным-давно было и к ней отношения не имело. – Глядишь, раздатчицы ошибутся, буханку лишнюю дадут, а может, понарошку подкладывали... Вот и перебивались. А теперь я в школу устроилась. Истопницей. Много ли? Ну, военкомат, конечно, помогает. Да вот ты.

– Девочки в школе? – спросил Алексей.

Старуха как будто не услышала. Голова у нее затряслась сильнее.

– Предлагают в детдом их сдать...

В детдом? Алексей не думал о таком.

Старуха заплакала, как тогда, на улице, не утирая глаз. Слезы сыпались светлыми горошинами.

– Слышишь, солдат, вот коли я помру, тогда сдай их в детдом, ладно? Сказать мне об этом больше некому. Но пока я жива...

Не помня себя, Алексей поднялся, ощущая, как озноб окатил его.

– Бабуш, – прошептал он горячо. – Ты что, бабуш! Да я... Не бойся, не бойся! Помру, но этому не бывать...

Онемевший, застылый, не в силах более ни о чем думать, Алексей заскочил домой, отыскал листок бумаги, принялся за спешное письмо Зинаиде.

Ах, Зинаида, темная твоя душа! Уехала в Москву, и ни звука. Бог с ней, пусть живет, как ей живется, не она беспокоила его сейчас. Были в комнате Пряхина кое-какие вещи, очень бы нужные сейчас, – тот кожаный костюм хотя бы. Его же на рынке можно очень даже серьезно выменять на муку, да и масло в придачу взять, крупы или еще чего. Вот он и писал, чтобы выслала Зинаида его кожаную форму, довоенный костюм, рубахи – в общем все, что сможет там подсобрать, да и сделала бы это побыстрее.

Между делом, не очень даже соображая, пересказывал он тете Груне о своей ночной вахте, о лице человеческом, выхваченном из тьмы мерцающим железнодорожным фонарем, о своей великой удаче – целом мешке капустных листьев, которые ведь и отварить можно – верно? – и зажарить, если, конечно, есть жиры, и щи сварить. Потом словно споткнулся, взглянул осознанно на тетю Груню:

– Девочек в детдом предлагают.

– Господи, борони их! – выдохнула в ответ тетя Груня, садясь, где стояла.

Тетя Груня умолкла, разглядывая Алексея хмуро, а когда он закончил письмо, подвинула стакан с клейким пшеничным отваром, спросила:

– Теперь на карусель?

– Куда же?

– А свалишься, что с тобой делать прикажешь?

Пряхин вскочил, запахивая на ходу шинель, озабоченно нащупывая в кармане молоток и гвозди. Не-ет, его не проведешь, не на того напали. Конечно, днем крутить карусель, а ночью вагоны разгружать – недолго протянешь, но ведь есть же простои у них с Анатолием, есть целые дни даже, когда наяривает гармонист впустую, а никто к ним не идет.

Он кинулся к карусели.

По дороге от рыночного забора отодрал Алексей доски, приспособил между бревен, приколотил наглухо – получилась лежанка: если простой, можно и прикорнуть.

Но прикорнуть не удалось – погода выпала как по заказу: легкий морозец и чистое, ясное небо. Ребята толпились у карусели – сначала поутру вторая смена, а после обеда – первая, и Алексей не мог даже словечком перекинуться с Анатолием. А вечером побежал в тупичок.

На этот раз пришлось выгружать уголь, и вагон по цене равнялся половине хлебной буханки.

Эта половинка буханки маячила перед ним целую ночь как цель, как смысл тяжелой работы, как залог, при котором девочки останутся с бабушкой, а не поедут в детдом, – хотя что такое полбуханки?

Вот-вот, про детский дом хотел он поговорить с Анатолием, и этот детдом стоял весь день в голове. Их же и разделить могут, в разные города, необязательно вместе. Конечно, детдом – это спасение для многих и многих, для сирот, которых оставила война, но если есть хоть маленькая возможность, надо быть всем вместе. И дома. С бабушкой.

Алексей с трудом метал уголь совковой лопатой. Поначалу дело шло ходко, тяжелые черные камни веером летели на землю, но потом спина занемела, да сказалась, конечно же, прошлая бессонная ночь.

Пряхина бросало то в пот, то в дрожь, глаза слезились, колени подгибались. Он все чаще останавливался перевести дыхание. И прислушаться к своему нутру. Боль походила на живое существо: то шевелилась, колола иглами, ворочалась недовольно, даже, казалось, ворчала, то неожиданно стихала, хотя Алексей и не оставлял работы. Под утро задул резкий, пронзительный ветер. В первый раз он пожалел о сапогах. В первый раз за все эти дни ноги в тонких ботиночках окоченели до помертвения.

Едва живой, Пряхин доскреб под утро последние крохи угля, сдал лопату, получил расчет и двинулся в гору.

Вчера он поскользнулся и спотыкался, поднимаясь по этой горе. Сегодня падал.

Навстречу попала Нюра. Разглядев Алексея, сказала:

– На карусель не ходи. Отоспись.

– Ладно, – кивнул Пряхин, а про себя чертыхнулся: «Отоспишься после войны!»

Пряхин отправился на рынок: там торговали горячим чаем. Вот сейчас он хлебнет кипяточку, оттаает, придет в себя, соберется с силами и дальше: айда, Анатолий, марш, или вальс, или плясовую, играй чего хочешь, двигатель на месте, и полный порядок. Не зря же поставили в городке карусель – единственное веселое заведение.

К торговке Алексей подошел со спины, поглядел, как в корзине, укутанной тряпьем, отдувается горячий чайник, протянул деньги, приказал устало: «Лени» – и не сразу дошло до него, почему торговка отскочила.

Он встрепенулся, пришел в себя, сделал три больших шага, взял торговку за руку, повернул ее.

– Катя!

Да, перед ним стояла Катя, и глаза ее в упор расстреливали Пряхина.

– Торгуешь?.. Почему не в школе? – спросил он растерянно.

– Какое вам дело? – зло ответила Катя.

Он покачал головой, по-прежнему не отпуская Катю: это не младшая, тотчас задаст стрекача.

– Хорошо, – сказал он. – Тогда налей чаю. Вот деньги.

Ее глаза горели, каждой своей клеточкой девушка ненавидела Алексея.

– Вам не налью! – выпалила она.

Парок из чайника струился все тише, плохая получалась из Кати торговка; вон настоящие-то торговки стоят с керосинками, у них чай не остывает, а тут – на много ли стаканов хватит домашнего жару, хоть и укрытого тряпками?

– Ладно, – сказал Алексей, – ступай.

Он отпустил Катин рукав, девушка тотчас отбежала в сторону и остановилась в нерешительности.

Изможденный, грязный солдат с черными от угля руками смотрел на нее исподлобья непонимающим, омертвевшим взглядом.

Катя повернулась к толпе, крикнула неумело:

– Кому чаю?

Голос ее сорвался, она заплакала, покрылась красными пятнами, кинулась с рынка. У входа поскользнулась на льду и упала.

Загромыхала крышка чайника, чай пролился в снег, Катя поднялась и крикнула Пряхину:

– Ненавижу! Ненавижу!

Медленно крутилась в тот день карусель, и даже, кажется, тоскливо играла гармошка.

Алексей двигался по кругу и засыпал на ходу. Дважды он упал, сильно ударившись. В первый раз он тотчас вскочил, испугавшись, долго не мог опаматоваться, понять, где он; над головой ходили жерновами, едва поскрипывая, поперечины, на которых держалась карусель.

Второй раз он упал уже под вечер, вконец обессиленный, и теперь ему было все равно, где он и что с ним. Пусть крутится, что угодно, хотелось спать, тысячу раз спать. Ударившись, Пряхин очнулся, безразлично подумал, что надо встать, но не встал, пока не оборвалась музыка.

Он поднялся.

Карусель стояла. В дверцу заглядывал Анатолий – никак не мог отделаться от зрячих привычек.

– Что с тобой?

– Порядок, братишка! – ответил его тоном Алексей, они рассмеялись, и Анатолий сказал:

– Значит, ты воинского звания рядовой?

– Так точно, товарищ капитан, – ответил шутливо Пряхин.

– Мысль понимаешь правильно. По званию я тебя старше. И намного. Так что приказываю: сегодня ночью спать.

– Эх, капитан, – сказал Алексей, – ты меня старше по званию, я тебя старше по возрасту, так что придется мне повкалывать ночку и много-много ночек еще.

– Ты это брось, – рассердился Анатолий, – сдохнешь! А что касается возраста, нас война всех сравняла, понял? И старых и молодых. Все мы теперь одного года рождения.

– Пожалуй, верно, – согласился Пряхин. – Все равные, все седые, кто живые – все раненые. Только ты вот ранен геройски, а я глупо. – Алексей выбрался из барабана, присел на синюю лошадку. – Пойми, капитан, ты из войны с победой вышел, хоть победа еще не пришла. А я-то! С поражением!

– Ты это брось, брось, – заволновался Анатолий.

– Да нет, бросать нечего, – задумчиво отозвался Пряхин. – Ты с победой, а я с виной. Вроде как дезертир, понимаешь? Дезертир он и есть дезертир. Победа придет, а не для него, виниться всегда будет, если, конечно, хоть капля стыда есть. Вот и я. Человека убил во время войны. Не врага, не фашиста – женщину. Мать. – Он вздохнул. – Да что там, дезертир со своей виной счастливец против меня будет... Так что не держи ты меня, капитан, и не жалея... Да тут еще девочек-то, – испугался он снова, – в детдом предлагают, представляешь?

Он поднялся с лошадки, спросил:

– Ну, я пойду?

Нюра стояла возле карусели, сказала, что привезли картошку.

– Слышишь! – обрадованно крикнул Пряхин Анатолию. – Картошку привезли! А ты говоришь – спать! Проспишь тут все на свете.

Он зашагал к тупику, и каждый шаг отдавался болью в груди. Почему в груди? Раньше болела голова, бывало, в голове отдавались шаги, а теперь почему-то в груди. В тупичке шла суета, разгрузить вагоны с чем-нибудь съедобным желающих было больше.

Алексей вошел в черед теней – подходил к вагону, становился спиной, приседал под тяжестью куля, волок его к складу, садился на корточки или преклонял колени и сваливал мешок с плеча.

Он вспомнил свой круг тогда – ночью, когда возил снаряды к станции. Навстречу ему двигались подводы с окоченевшими, безразличными от усталости возницами, но, даже изнемогавшие от работы, они обязательно поднимали руку в знак приветствия, и он махал им в ответ. Тот круг был осмысленным, хотя бесконечным, как и здесь. Да, тот был осмысленным, там поднимали руку, чтобы поддержать друг друга в бесконечном своем круге, а здесь – здесь было совсем другое. Люди проходили рядом, но не говорили друг другу ни слова. И эта тишина не была пустой, нет. Вначале Алексей не понимал этого. Потом ощутил с

физической остротой. Здесь люди были враждебны друг другу, вот что. Алексей не понимал этого. Почему? Зачем? Надо бы заговорить. Но он не заговорил. Запел. Хриплым, простуженным голосом он затянул:

– Э-эй, ухнем, ещ-е рази-ик, еще ра-аз!

Над ухом кто-то рыкнул: «Заткнись!» – и вот тогда он почувствовал это отчуждение, эту враждебность. Но и в ту минуту он не все еще знал о тенях, мелькавших у вагонов.

Когда дело шло к концу и многие уже получили расчет, его остановил придушенный женский крик. Алексей обернулся и скорей услышал, чем увидел, как во тьме с треском рванули мешок, картошка рассыпалась, тени кинулись подбирать ее на ощупь, женщине наступили на руку, и она вскрикнула.

Алексей сбросил свой мешок, подбежал к этим согбенным теням, воскликнул:

– Что вы! За это судят!

– Пусть судят, – иступленно ответил хриплым голосом, не поймешь, мужской или женский.

– Опомнитесь! – снова крикнул Алексей.

Ему не ответили, нет. Тихо, без звука, без единого слова, кто-то ударил в живот, в спину, в лицо. Тени били Алексея куда попало, и вот в эти мгновения, когда темень прорывали вспышки ударов, он понял все до конца.

Тут, во мраке неосвещенного двора, при бледных бликах лампочек, люди зверели.

Они не видели лиц друг друга, они были неизвестны друг другу и приходили сюда, чтобы спастись от голода. Вот. От голода они рванули мешок, другой, от голода лупили Алексея, могли бы и убить – от голода, потерявшие человеческий лик в темноте.

Человек оказывался без лица, вот в чем дело. И не видел других лиц. И забывал, что он человек...

Алексей закричал что было сил:

– Стой, стрелять буду!

Это должно было подействовать. И подействовало: они метнулись в стороны, двор возле склада опустел. Лишь несколько женщин жались у дверей.

– Бедолага, – сказал чей-то жалеющий голос. Алексей только теперь почувствовал боль. Губа опухла, шатался и кровоточил зуб. Отплевываясь, получил расчет.

– Зря ты так, – сказала тетка, выдававшая деньги. – Нет вагона, где бы не порвался мешок. Это, можно сказать, по правилам положено.

Пряхин пожал плечами:

– Зачем же тогда рвать?

– Да затем, что в этот раз ни один сам не порвался.

Алексей пошел к выходу, чуть не упал, наступив на картошку, и обернулся. Женщины у растворенного склада смотрели ему вслед. Пряхин махнул рукой, чертыхнулся, наклонился и подобрал несколько картофелин. Он поднялся в оцепенении, в оцепенении, в оцепенении, словно медленно решал пустяковую задачку, потом вывернул пустой карман галифе, рванул его изо всех сил и стал совать картофелины в штаны.

Они скатывались леденящими кругляками к ногам, наполняли штанину, и Алексей шептал самому себе: «Скотина! Честный человек называется, а сам, сам...» Наконец он выпрямился. Женщины все смотрели на него. Он повернулся и побежал к проходной.

Алексей брел по черным улицам один, будто он всегда, вечно был один в этом черном, пустом городе, и холодные картофелины ударялись о ногу. Он много узнал сегодня. Про голод и про людей, которые не видят лиц друг друга, а еще про себя и про то, что такой же, как все.

Он старался не думать о краже. Точнее, он выбрасывал из головы это слово. Что-то давило ему на спину, на плечи, но он разгибался и шептал:

– Девочки там!

Дверь открыла Лиза, средняя. Только с ней не было у Пряхина никаких отношений. Держась за косяк, не переступая порога, покачиваясь от усталости, Алексей протянул девочке две картофелины, сунул руку в карман, достал еще две и так доставал их по две, не говоря ни слова.

На лестнице его качнуло, он снова почувствовал боль в груди, прикрыл глаза, на мгновение остановился. Через секунду он двинулся дальше, собрав в кулак остатки сил, обернулся на дверь и увидел взгляд – встревоженный, беспокойный.

Это было последнее, что он запомнил, – встревоженный, беспокойный взгляд, и эта тревога странно успокаивала его...

Не помня себя, Алексей добрался до избышки тети Груни, разделся, лег в постель и провалился в беспамятство.

Две вещи он помнил в забытьи: разговор о том, что девочек отдадут в детдом, и этот взгляд – встревоженный и беспокойный.

Когда Алексей думал про детский дом, он стонал и ворочался, когда ему мнилось Лизин взгляд – утихал и успокаивался.

Он не почувствовал поначалу глубину бабушкиной горечи. Пряхин разбирался в этом известии постепенно, толчками. Сначала слова про детский дом показались ему напрасным испугом. Потом он стал думать, что девочек могут разделить – отправить в разные города. И только теперь, в беспамятстве, до него доходило главное: ведь детдом – это все, крах, конец. И вся вина за это лежит на нем. Сначала принес он в эту комнатку мертвую мать, а теперь развеет семью по ветру. Как варвар, как какой-то фашист...

В горячечном бреде он являлся сам себе угрюмой, злой силой. Размахивал руками, что-то кричал, и трое девочек и бабушка разбегались от него, а он опять орал и пугал их... Потом утихал. Средняя, Лиза, смотрела на него встревоженно, беспокойно, и он понимал, что эта тревога и это беспокойство относятся к нему: не он боялся за девочку, а девочка за него.

Когда Пряхин очнулся, первым, кого он увидел, был Анатолий – его темные очки в железной оправе и лицо, посыпанное синими оспинками. Алексей встrepенулcя, ему показалось, что он проспал и гармонист пришел, чтобы устыдить его.

– Сейчас! Извини, – пробормотал он, пытаясь сесть, но не мог. Руки были как плети и не слушались его.

– Братишка! – обрадованно зашумел Анатолий. – Ожил! То-то же! Нашего брата инвалида не так легко завалить! Молодец!

Из-за плеча Анатолия выглядывала тетя Груня, и тут только Алексей понял, что он не спал, а прихворнул.

– Ха-ха! – радовался Анатолий. – Ни хрена себе прихворнул! Три дня в беспамятстве!

Алексей расстроился. Представил себе, как сидит Анатолий три дня, играет на гармошке, а все без толку, потому что крутить карусель некому.

– Как же карусель? Стояла? – спросил Пряхин, качая головой, виня себя.

– Почему стояла? Работала! Только без музыки! И знаешь, ничего, оказывается. Можно и так.

– Как же? – пробормотал Пряхин. – Сам крутил?

Он представил, как Анатолий, собрав рубли и выдав билетики, поднимается со стула, находит дверцу в барабан, залезает внутрь, кладет в сторону палочку и, навалясь, толкает перед собой бревно.

Пряхин знал, он все знал про карусель, знал, как обязательно надо подпрыгивать потом, когда колесо раскрутилось, уцепиться за бревно и прокатиться на нем, пока маховик не замедлит свой ход.

Анатолий словно угадал его мысли.

– А я приседал, – сказал он. – Раскручу и присяду, отдохну. Пока не почувствую, что колесо останавливается.

Ах, Анатолий, боевой геройский капитан, ах, неунываха!

– Слушай, – спросил Алексей, – а почему ты на карусель пошел?

Не раз ему это в голову приходило, а спросил впервой.

– Да предлагали мне, – весело ответил Анатолий, – в артель идти. Какие-то железки штамповать. Сиди себе и штампуй. Тепло, дождик не капает. Я уж было согласился, но потом подумал – не годится. У нас в артиллерии дела хорошо идут, когда вперед движешься. Как засел, окопался, тут к тебе противник пристреляется, и пошло-поехало. Сегодня ездового

убьют, завтра расчет. Нет, в артиллерии жить, когда движение есть. Вот я и решил, на карусель пойду. Шум, гам, смех, гармошка. Движение. Задумываться некогда, а у штампа задумаешься – тут тебя и прихлопнет.

Он опять рассмеялся. Из-за плеча Анатолия вновь вышла тетя Груня, показала ему что-то блестящее.

– Ну-у! – обрадовался Алексей. Это ведь был его кожаный костюм. – Никак Зинаида откликнулась?

Тетя Груня пригорюнилась, как всегда, подбородок в ладонь положила.

– Кабы Зинаида! Соседка прислала. Учительница по прозвищу Марья Сергеевна!

Марья Сергеевна! Жива, значит. Слава богу. А он ведь вспоминал ее, эх, Марья Сергеевна.

Что-то трепыхнулось тревожно в груди. Зинаида, вот что.

– С командиром, с каким в поезде познакомилась, дальше проехала, – сказал он зло.

– Немилостив ты, Алеша, – сказала печально тетя Груня, – понять не можешь никак, что мир держится на прощении.

Алексей поперхнулся. Правильно, тетя Груня! По щекам ему – раз, раз! За Зинаиду. А подумала бы: стоит того Зинаида? Готов он простить, верно, на прощении держится мир, и простил однажды – и не однажды простил! – но вот же пример: прислала костюм не она – соседка, значит, не приехала. А не приехать могла по одной причине – махнула рукой на Пряхина. Он – с поезда, она поездом – в другую степь. Ох, тетя Груня, святая простота, все-то ты веришь, всех любишь...

Анатолий ощупывал кожаный костюм – брюки, куртку, фуражку, прикидывал, сколько дадут в переводе на муку, на сало, на хлеб. Выходило, мешок муки – если на муку.

– Давай оклемавайся, да пойдем с тобой в деревню, – шумел Анатолий. – Ведь мешок это в городе дадут, а деревня и того больше отвалит! Возьмем два выходных, запрем карусель и айда на промысел!

Гармонист ушел, тетя Груня подала Алексею похлебку. Опять в глаза ему заглядывает, снова винится.

– Не беспокойся, тетечка Грунечка, – сказал Пряхин ласково. – Вот поднимусь, в милицию пойду. Объявлю Зинке розыск.

Утешил тетю Груню, хотя Зинаиде ни на мизинец не верил. А что, действительно. Зайдет, заявит, пусть отыщут следы, новый адрес. Напишет он ей, крепенькие отыщет словечки за то, что тетю Груню ни разу не вспомнила, слова доброго не сообщила, а ведь не кто иной – тетя Груня в Москву ей выехать помогла.

– А меня ты прости, – сказал тете Груне, глаза отводя. – Может, и правда с Зинаидой что приключилось.

В дверь постучали, и Алексей часто-часто заморгал, не давая слезам воли. На пороге стояла средняя, Лиза, а в руках держала маленький узелок.

– Проходи, раздевайся, – проговорила тетя Груня, и доброе лицо ее цело, улыбалось. – Три дня приходит, а ты в беспамятстве, смотришь на нее, не узнаешь, только чего-то про детский дом разговариваешь, какой еще детдом тебе впал...

Девочка скинула пальтишко, присела на краешек стула, красными, как гусиные лапки, руками стала развязывать узелок, протянула Алексею мисочку с картофельными оладьями:

– Еще теплые.

Алексей порывисто схватил ее руку, стал согревать жаркими ладонями. Спросил, сдерживая себя, поперхнувшись:

– Что ж, у тебя vareжек нет?

Она весело мотнула головой, черные шелковистые волосы взлетели на плечо и остались там сияющей прядью. Пряхин с любопытством разглядывал Лизу. Сколько ей? Одиннадцать, двенадцать... Черные вразлет брови, густые кусты ресниц, нежно и женственно прикрывающие глаза с вишневыми ласковыми зрачками, губы по-детски пухлые, ярко-розовые, несмотря на голод, смуглая кожа, тонкие мочки ушек, прикрытых волосами... Фигурка девочки была еще детской, несурозной. Красные, с обкусанными ногтями руки,

острые коленки в прохудившихся чулках, сама она в синей кофточке с дырявыми локтями – все было хрупким каким-то, наивным, девчачьим, но лицо – лицо, казалось, не могло скрыть ее будущей красоты и женственности.

Пряхину пришла в голову неожиданная мысль: он должен сохранить эту девочку! Нет, нет, он должен спасти и бабушку, и Катю с Машей, за всех он отвечает головой, но вот эту, среднюю, спасти непременно.

Он представил: кончится война, и жизнь пойдет дальше, станет он, коли выживет, глухим стариком, и людям, которые теперь воюют, голодают, страдают, придут на смену другие люди, вот эти, как Лиза, и уже они станут взрослыми людьми – женщинами, мужчинами. И Лиза будет любить – непременно крепко и верно! – ей удастся это лучше гораздо, непременно лучше, чем некоторым из предыдущих людей. И эту хрупкую девочку тоже станут крепко любить в ответ, и у Лизы будут дети, непременно красивые, в нее, дети, которым война, и карусель, и картофелины, принесенные им, Алексеем, с разгрузки в кармане шинели, покажутся чем-то неправдоподобным, далеким, невероятным...

Пряхин вздрогнул. Вот когда утихнет по-настоящему его боль!

Эта мысль поразила его. Да, да, только тогда, когда у Лизы вырастут собственные дети, а его, Алексея, уже не будет на свете. Ведь боль, она живет дольше человека и со смертью Пряхина не умрет, а исчезнет только тогда, когда вырастет у Лизы сын, и он, этот неизвестный, неведомый прекрасный сын – только он не будет чувствовать боли шофера Пряхина и боли своей матери, Лизы, он будет знать, но чувствовать ему дано иное. Совсем иное...

Алексей откинулся на подушку, отбросил голову к стене – от тяжести невыносимой. Но тут же себя одернул, устыдил. Повернулся к девочке: она-то при чем тут? Принялся лепешки жевать: действительно еще теплые.

Расспрашивал, радостно Лизу разглядывая:

– Как Катя? Ходит в школу?.. А бабушка?.. Маше – поклон.

Лиза бойко рассказывала про Машу, про бабушку, бойко и про Катю сказала:

– Она ничего не ест из того, что вы приносите. Худющая – страх глядеть!

– А чего говорит? – спросил Пряхин, холодея. «Опять Катя!»

– Ничего. Молчит и не ест.

Пряхину подвез случай.

В первый же вечер, как вышел на улицу, увидел: Катя идет рядом с парнишкой.

Алексей приструнил шаг, потом перебежал на другую сторону, чтоб не спугнуть парочку, брел за ними следом, не замечая, что улыбается.

Ах, Катя, Катя! Как же тебе, должно быть, нехорошо на рынке с чайником стоять – волнуешься, поди, дрожишь вся, а вдруг ненароком паренек этот или кто из его друзей. Мало ли, дурной он, застыдится вдруг, или приятели дурные – задразнят как-нибудь паренька – «торговкин ухажер» или еще как побольнее. Известное дело, молодость не щадит, рубит сплеча, не подумав, какие боли рубка эта приносит...

Катя с пареньком стояли у ворот ее дома, а Пряхин, старый дуралей, топтался наискосок, прячась за ствол дерева, таясь, – не дай бог, увидит Катя, тогда уж ввек не простит.

Снова дул пронзительный ветер; сдерживая себя, Пряхин гулко кашлял в кулак, колотил ботинками друг о дружку, а молодым никакой ветер не страшен – стоят в воротах, о чем-то беседуют.

Наконец простились. Парень, как конь вороной, припустил бегом, и Алексей за ним погнался. Была у него одна мыслишка заветная, пришла в голову только что, неожиданно, едва узнал со спины Катю с парнишечкой этим.

Парень драпал, то ли торопясь, то ли согреваясь, а за ним шел рысцой старый хриплый конь Пряхин, сбиваясь с дыхания, оскальзываясь и спотыкаясь. Нет, не хватало сил у него, пришлось применять голос:

– Эй, паренек! Погоди!

Мальчишка остановился – лицо курносое, простое, но чуб кудрявый из-под ушанки по всем правилам ухажерского мастерства.

– Вам чо, дядя?

Пряхин стоял перед ним запыхавшийся, изнемогающий и слова не мог вымолвить. Наконец отдышался, спросил:

– Когда завтра с Катей встречаетесь?

– А чего? – отступил растерянно парень, готовый опять убежать.

– Да ты не бойся! Я с добром! – остановил его Пряхин. – Хочу вот попросить тебя, сделай милость! – Он полез под гимнастерку, в нагрудный карман, и парень снова отступил – на всякий случай.

Алексей вынул деньги, протянул ему, сказал:

– Ты ж к ней хорошо относишься?

– Допустим, – настороженно ответил парень. – А что?

– Что, что! – рассердился Алексей. – Видишь, какая она худющая! Кожа да кости! Вот ты ей и купи! Да не сластей – что с них проку, – а ватрушку покупай. На рынке, у торговков. Как на свиданку-то пойдешь, так и купи.

Парень улыбнулся, приблизился к Алексею.

– Это точно! – сказал он. – Худая как скелет. А хорошая!

– Одно с другим не связано, – кивнул Алексей. – Так вот, ты ее угощай. Каждый день, слышишь.

– А вы ей кто? – спросил парнишка.

– Д-дядька, – неуверенно заикнулся Алексей. – Но ты про меня ей ни слова. Понял? – Припугнул: – А то она и тебя прогонит. – Пояснил: – Обидчивая очень.

Парень кивнул, сдвинул ушанку на ухо, чуб свис ему на глаз – это видно, чтоб повзрослей казаться.

– Будет сделано. А как деньги кончатся?

– Я на рынке работаю, на карусели. Алексеем зовут. Придешь, спросишь.

Паренек оказался правильный, хороший. Однажды даже провел Катю мимо карусели: она ела ватрушку, бойко говорила о чем-то с ухажером, а тот косил на карусель глазом, давал Пряхину понять, что это он как бы отчитывается.

В эту минуту карусель стояла, Анатолий сажал новых ребятишек и Алексей выбрался наружу подышать.

Действия паренька он заметил, понял его и в душе поблагодарил.

Побеспокоился: только бы Катя не узнала.

Попутными подводами, прямо от рынка, двинулись в деревню Анатолий и Алексей. За спинами надежно приторочены мешки с одеждой, собранной на обмен, начальство извещено, что карусель два дня будет в простое, снег скрипит под санями, словно кто-то ест свежие яблоки. Даже дух вроде яблочный – чистый и бодрящий. Солнце, как в маленьких зеркальцах, отражается в каждой снежинке, и лучи его острыми иглами колют глаза.

Анатолий жадно подставляет лицо свету, спрашивает Пряхина:

– Светло вокруг, а? Светло?

Алексей отвечает ему в тон, бодро, хотя глядит жалеючи:

– Светло! Спит!

Другим тоном с Анатолием говорить нельзя, заругается, закричит: «Ты чего разнылся?!» Нет, ни разу еще Пряхин не видел гармониста невеселым, угрюмым. Вот и сейчас кричит:

– Ну дер-ржись, деревня! Вынимай натур-ральные припасы! Инвалидский магазин едет! Шило – на мыло, штаны – на сало! – И сам же хохочет, заливается.

Когда в поход этот собрались, Анатолий гармошку через плечо перекинул. Пряхин отговаривал его, даже ругался:

– Какого черта в такую даль тащиться?

– Эх, темнота! – хохотал Анатолий. – Не понимаешь ты, братишка! Да гармонь – это оружие пролетариата! И в деревню надо нести песню и музыку, кроме нашего барахла. Не улавливаешь момента?

Подвода приостановилась, выгрузила менял, и Пряхин с Анатолием оказались посреди какой-то деревни.

– Ну-ка, дай мне обзор местности! – велел гармонист.

Деревушка была симпатичная, торопились, взбирались на горку избы, закуржавелые березы украшали деревенский порядок – загляденье, да и только! Только вот ни души кругом.

– А ну, – сказал Анатолий, разворачивая мехи гармошки, – оживим пейзаж!

Звонким своим, даже чуточку хулиганским голосом запел он свою любимую:

Крутится-вертится шар голубой,
Крутится-вертится над головой,
Крутится-вертится хочет упасть,
Кавалер барышню хочет украсть!

Анатолий замолчал. Улыбался, поворачивал очки то вправо, то влево, потом сказал, удивляясь:

– Никто не встречает? Странно.

Тощая шавка тявкала на них, на всякий случай пятясь задом и помахивая хвостом – вроде, с одной стороны, чужие, а с другой – вдруг чего поесть перепадет.

Они пошли по деревне, Алексей на полшага впереди, чуть позади, взяв его под руку, – Анатолий.

Окна были пусты, теперь и собака не брехала – шла за гостями, поджав хвост, – и никто их не встречал, никому не были они нужны со своим барахлом и даже музыкой.

В одном окне сквозь кружево инея выглядывало на них испуганное старушечье лицо.

– Меняем вещи на муку! – крикнул Алексей, и старушечье лицо разгладилось, успокоилось – она помотала головой, «Испугалась, – подумал Пряхин, – не свой ли кто с фронта слепым пришел».

– Шил-ло – на мыло! Мыл-ло – на шило! – закричал Анатолий.

В воротах ограды стояла женщина средних лет, укутанная платком.

– Аники-воины! – окликнула она. – Околели, поди! Заходите погреться!

Они вошли в избу, наклонив головы, чтоб не расшибиться о низкую притолоку, чинно сели на лавку, и хозяйка предложила:

– Товар-то свой раскладывайте. Бабы сейчас подойдут.

И верно, двери поскрипывали, по ногам прокатывались холодные клубы воздуха, и на пороге возникали женщины.

Алексей разложил на лавке целый магазин: кожаные штаны, куртку, фуражку, рубахи Анатолия, ношенные брюки, старые ботинки.

Когда набилась полная изба, Анатолий опять растянул мехи и ударил вальс «Амурские волны». «Чертяка, – подумал Пряхин, – по чувствам бьет». Ему стало неловко оттого, что они так действуют. Коварно получалось, нехорошо.

Анатолий закончил вальс, трогательные и волнующие звуки стихли, музыкант чинно кивнул головой, как бы давая понять, что лирическая часть закончена и можно приступить к делу.

Бабы потоптались еще у двери, потом все сразу двинулись вперед, а через минуту стоял в избе магазинный гомон. Все говорили между собой, щупали кожу пиджака и штанов, разглядывали на свет рубахи, подносили их к окну, где поярче.

– Слышь, братишка! – сказал негромко Анатолий. – Кажись, попали мы, а? Ноги-то унесем?

Пряхин усмехнулся: а что, может, и впрямь выгорит их затея? Но бабы, подробно ошупав каждую вещь, приутихли.

– Мыльца у вас, родимые, нет? – спросил чей-то тонкий голосок.

– А спичек?

Его поддержали:

– А сольцы?

– Смилуйтесь, гражданки, – засмеялся Анатолий. – Мы же не коробейники, не торгаши. Обыкновенные инвалиды! Нам бы пожрать чего, чтобы выжить, чтобы до победы нашей добраться! – Он осекся. Что-то уж очень пламенная получилась речь. Анатолий похлопал рукой по тряпкам, спросил: – А что, не нравится?

Бабы завздохали, загомонили опять, но уже тише.

Хлопнула дверь. На пороге возникла еще одна женщина, и изба оживилась:

– Валя! Бери чего-нибудь Сереге-то!

– Ведь возвращается.

– Подарочек какой!

Валя скинула платок, оказалась молодой, белозубой, веселой.

– Глянь-ка, штаны какие – сносу нет!

Окна задребезжали от хохота.

– А пинжак-то, пинжак!

– За почем костюм отдаете, инвалиды? – перебила всех веселая Валя. – И впрямь Сереге подарочек!

Алексей молчал, мялся, не знал, как и сказать, но Анатолий в тон Вале крикнул:

– Да для мужа живого ведь ничего не жалко, а? Клади два мешка.

В избе разом стихло.

– Чего два мешка? – испуганно спросила Валя.

– Как чего? – ответил игриво Анатолий. – Муки.

Пряхин разглядывал крестьянок и обливался потом. Анатолий был слепой, это женщины понимали и смотрели на одного Алексея, только на него. Смотрели презрительно, осуждающе, удивленно.

– Пошли отсюда, бабы, – сказал чей-то глухой голос.

– Спекулянты вы, а не инвалиды, – добавил другой.

Женщины враз заговорили, двинулись к двери, уже кто-то вышел, по ногам шибанули морозные клубы воздуха, и тут Анатолий крикнул:

– Стой!

Крикнул, как там, на войне, командовал, наверное, своими солдатами.

– Спекулянты? – спросил он, поднимаясь. – Какие же мы спекулянты, бабы? Разве похожи мы на спекулянтов? – Голос его сел, сломался. – Неужели вы думаете, что пришли бы мы, мужики, к вам свои штаны на муку менять, коли б нужда к стенке не приперла, а? И нужно нам за эту довоенную кожу, черт бы ее побрал, не меньше мешка муки, чтобы малые дети с голоду не передохли. – Анатолий успокоился, сел снова на лавку. – И вы нас не стыдите, самим стыдно. Деваться некуда.

Женщины стояли у выхода, повернувшись к слепому, – стояли плотной маленькой кучкой, и лица у всех были точно выточены из дерева.

«Вот после войны, – подумал неожиданно Алексей, – памятник такой вырубить надо художникам. Бабы. Смотрят на тебя и будто заплакать хотят».

Не думал он никогда в жизни ни о каких памятниках, а тут подумал – скорбно и тихо стояли бабы у двери, словно хотели что-то сказать – грубое, стыдное, да сами же и жалели.

– Не суди нас, незрячий, – проговорила Валя, выходя из кучки. – Женщины народ известный. Слово обронили нехорошее, извини... Ну а если по делу, то могу я по вашим ценам из всего этого обмундирования сменять на муку для Сереги разве что только фуражку. А ежели весь костюм, то сама мужа не дождусь, околею. Так что ищите деревню побогаче.

Дверь отворилась опять, и холод бил по ногам теперь долго – пока все женщины не ушли.

– Садитесь за стол, – приказала хозяйка. В ухвате держала она черный горшок. – Чем бог послал.

Алексей не слушал ее. Рассовывал тряпки в мешки, зло их тискал, уминая. Анатолий закурил сигарку, и руки у него тряслись.

Торопливо поднялись и обедать отказались, как ни просила хозяйка.

На пороге Пряхин протянул ей кожаный картуз.

– Отдай Вале для ее Сергея!

Хозяйка запричитала, что надо бы отдать в руки Вале, да она ее и кликнет, но Пряхин поморщился:

– Отдай сама!

И плотно притворил за собой дверь.

Они шли по деревне быстро, почти бегом, не сдерживая шаг, а Анатолий шипел Пряхину в ухо:

– Да быстрее, черт тебя дери! Быстрее!

Только в низинке, когда закуржавелые березы и домики, взбегавшие на гору, скрылись за ельником, Алексей расслабился.

– Дурак же я, – сказал зло гармонист. – Тащились, ехали. Надо было на рынке. У кого есть что сменять да продать – в город везут. А кто сам локоть кусает – дома сидит.

Они шли молча, досадуя на себя.

– Стыдобища какая! – сказал Алексей.

– А чего стыдобища! – не согласился Анатолий. – Не менять же костюм за мешок картошки? У всего цена есть. Баб жалко, деревенька бедная, но и себя пожалеть надобно. Война, братишка, война.

Они вздохнули враз, словно сговорившись, засмеялись своему единому сердцу, и вроде полегчало тотчас: ну ошиблись, ну промашка вышла, да ведь не трагедия, поменяют свое барахло на рынке.

– Война, война, – сказал Анатолий бодрым, обычным своим голосом. – Прямо-таки почище любого романа наворотела. Мужики барахло меняют да карусель крутят! А бабы ишачат как лошади, в деревне вон, говорят, пашут на себе! Но вообще, братишка, жить хорошо, а? Слава богу, что нас не кокнуло, подумай-ка. Идем вот себе живехоньки, хоть не больно-то здоровехоньки, и снег под ногами скрипит, солнышко блестит? Ну-ка рассказывай, что видишь!

Пряхин улыбнулся, принялся Анатолию говорить, что видит.

– Вот елка, темным, вроде как морозом, отдает, но боковые лапы зеленые – солнышко их развеселило. О! Красота какая, гляди-ко! Рябина ягоды сохранила. Оранжевые горсточки висят, глаз обжигают. А вон синица дорогу перелетела – брюшко желтым огоньком горит...

– Были раньше у меня глаза молчаливые, – рассмеялся Анатолий. – А теперь есть говорящие!.. Представляешь, вижу все, о чем рассказываешь.

Низкое солнце высвечивало верхушки деревьев, золотило сосны, молодило еловые пики, высветляло березовую кору. Тени густели, сочились синей краской, воздух становился звонче.

Цокот копыт по плотному снегу первым услышал Анатолий, они остановились, повернулись лицом назад, к попутной подводе, может, и повезет, подбросят до города.

– А ну, инвалиды, влезай! – услышали они знакомый голос. Улыбалась во весь рот Валя, помахиwała кнутом, похлопывала по сенцу, приглашая устроиться в санях по всем правилам, с удобствами. Пока Пряхин и Анатолий устраивались, объясняла: – Бабые собрание постановило: доставить вас до дому, а то вечереет, не ровен час. У нас тут пошаливают, банда какая-то завелась.

Снег опять заскрипел яблочным вкусным хрустом, а Валя кричала им, оборачиваясь:

– Это ж надо, а? Хуже фашистов – в тылу мародерствуют!.. А за фуражечку спасибо! Мы вам вон полмешка картошек собрали. Всей деревней!

Анатолий ткнул Алексея в бок, и Пряхин строго отрезал:

– Картошку за фуражку не возьмем, так и знай. За подарок не берут.

– Больно я тебя спросила! – засмеялась Валя. – Ты мне подарок, я тебе подарок!

– Эхма-а! – весело заорал Анатолий. Отстегнул пуговку на гармошке, рванул свою разлюбленную, запел озорным голосом:

Крутится-вертится шар голубой,

Крутится-вертится над головой,

Крутится-вертится хочет упасть,

Кавалер барышню хочет украсть!

– Валя, – крикнул Пряхин, заражаясь весельем гармониста, – мужа-то заждалась, а?

– Ага! – обернулась она надолго. Глаза ее светились радостью, самозабвенной, отрешенной улыбкой горело лицо, и в этом ее «ага!» было столько уверенности и счастья, что Алексей позавидовал неизвестному ему Сергею. Если бы кто-нибудь где-нибудь, пусть в самом дальнем уголке земли, ждал его так! Да он бы сломал все преграды – ринулся туда, чтоб обнять, чтоб прижать к себе ждущую, тоскующую, думающую о нем женщину. Ах, если бы! Но его никто не ждал на всем белом свете. Не считая тети Груни, конечно, бабушки Ивановны да ее девочек, кроме Кати. Но то было другое ожидание. Так, как ждала эта счастливая Валя, его не ждал никто.

Зинаида! Мысль о ней кольнула его. Пропащая душа. Сразу после болезни зашел он в милицию к тому же сморщенному милиционеру, похожему на печеное яблоко, написал заявление о розыске, справлялся пару раз, но бесполезно. «Ждите!» – сказала милиция, и то верно! Ждите, если дождетесь, что в войну эту проклятую, когда столько горя, столько смятения на земле, когда разнесло, развеяло по белу свету столько семей, найдут следы какой-то Зинаиды.

– Ох, Валя, – крикнул Анатолий, – а сладка будет пуховая перина? Целый мужик-то?

– Целый! – весело ответила Валентина, снова радостно обернувшись. – Всего и нет-то одной руки! Это ж не помеха!

– Не помеха! – засмеялся Анатолий. – Конечно, не помеха!

Лошадь вывернула из-за поворота, всхрапнула, зажатая натянутой вожжой.

– Ну вот, мужики, – обернулась Валя. – Говорила я вам! Бандиты!

Алексей приподнялся: на краю дороги стояло четверо мужиков с поднятыми воротниками.

– Ерунда! – сказал он. – Бабы враки! Какие тут могут быть бандиты! Поехали!

Валя тронула лошадь, подхвостнула ее кнутом. Снег завизжал под полозьями. «Верно, что бабы враки», – подумал Алексей. Лошадь приближалась к мужикам, а они все стояли в тех же позах, говорили между собой.

В следующее мгновение все четверо кинулись к лошади, навалились на оглоблю, сани прошли несколько метров и встали. Один схватил лошадь за уздцы и накинул ей на голову холстину.

– Вы чего, мужики, шалите? – крикнул шутливым тоном Пряхин, все еще надеясь, что Валя ошиблась, а люди эти шутят, мало ли...

– Я те пошалою, са-алдати-ик! – ответил мордастый парень, подходя к саням. Брови у него были насуплены, казалось, срослись над переносицей, и всем своим видом старался он навести на окружающих страх и ужас.

Резким рывком мордастый выдернул из-под ног Алексея мешок, мигом сдернул с горловины лямку, вывалил в снег тряпье.

– Ого! – орал он. – Братовья! Защитник-то отечества! Барахло меняет!

Бандиты сдержанно засмеялись.

– Постой-ка, – продолжал мордастый, вытаскивая кожаные штаны и пиджак. – Да тут солидное имущество! Как батька Махно буду, а? Поменяем ему? Он нам костюмчик, мы ему – жизнь!

Он заржал, и тени засмеялись тоже.

– Погоди-ка, – сказал Алексей, сходя с саней в снег. – Ну давай. Поменяем.

Это было безрассудством – в сущности, одному драться с четверыми. К тому же у бандитов наверняка есть оружие. Но отдать этот костюм было невысказано. И не потому, что жалко. Не потому, что кожаная одевка дороже жизни. Просто подумал Пряхин о том, что значат эти штаны и пиджак для него, для троих девочек и бабушки Ивановны. Подумал, как он только что, в деревне, не сумел обменять их на муку, но надеялся сделать это на рынке. Костюм стал символом жизни – тяжелой, трудной жизни и его самого, и этих вот баб, которые выделили лошадь, чтобы доставить Пряхина и Анатолия в город.

«Была не была», – шепнул себе Алексей и, голодный, отчаявшийся, ненавидящий, пнул изо всех сил бандита по ноге, целя в колено, в самую косточку.

Мордастый взвыл, завалился в снег, заорал своим подмастерьям:

– Хватайте его! Да я счас! Я его!

Прихрамывая, подпрыгивая на одной ноге, он приблизился к Пряхину и ударил его в лицо. Алексея уже держали. Он пытался вырваться, но только кости в плечах хрустели.

– Сволочи! – выплевывал Алексей приговор вместе с кровью. – Да вас к стенке поставят! Предатели! Фашисты! Мы на фронте кровь проливали, а вы тут в тылу крохоборничаете!

Толстомордый молотил Пряхина, норовя попасть в глаза, в нос, в зубы. Его жирная, отвратительная харя плясала перед Алексеем и так и этак. Пряхин собрался с силами и пнул бандита в самый поддых. Удар получился слабый, рассчитывать особо не приходилось, бандит спохватился, словно Пряхин надоумил его, и стал пинать Алексея.

– Фашисты! – крикнул Пряхин. – Эсэсовцы!

– Вот тебе за фашиста, – злился мордастый. – Вот за эсэсовца.

Удары становились все нестерпимей, но Пряхин их больше не чувствовал.

И тут раздался крик. Кричала Валя. Алексей увидел, как с кнутом в руке подбежала Валя к мордастому и огрела его сыромятным крепким хлыстом. На лице бандита зажглась красная полоса, он дико заорал, а Валя хвостала и хвостала его. Алексей почувствовал, как ослабла хватка, с которой держали его, две тени рванулись к Вале, уронили ее, принялись дубасить, но мордастый остановил их:

– Братовья! Не больно уродуйте! Мы ее еще погреем на четверых! – Он захохотал, повернулся к Алексею и уже замахнулся, чтобы ударить.

– Эй! – услышал Пряхин голос Анатолия и чуть не заплакал. Молчал бы, молчал, черт побери, слепец! Не видишь, что тут творится, и слава богу – не зря толкуют: нет худа без добра. Но безумный Анатолий крикнул снова: – Эй, братовья! А меня не забыли?

– Ладно, убогий, сиди! – милостиво разрешил мордастый. – Пока и тебя не шпокнули! Моли бога, что нас не видишь! Свидетелей не будет!

– Так ты думаешь, я слепой, сволочь! – крикнул весело Анатолий. – А я просто хитрый!

Алексей увидел, как гармонист бросает в сторону палочку и достает из кармана пистолет. Это только трус мог подумать, глядя на Анатолия, что слепой в самом деле не слеп и целится в него: пистолет явно направлялся на голоса.

– Ложись, Алеха! – крикнул Анатолий. Пряхин резко упал, точно и вовремя выполнив команду, и лес пронзил оглушающий выстрел. Один, другой, третий, пятый.

– Полундра! – крикнул мужской хриплый голос за спиной у Алексея, кто-то заорал благим матом, затрещали кусты.

Пряхин приподнялся, пробежал, согнувшись, несколько метров, отделявшие его от Анатолия, крикнул ему:

– Это я! Не стреляй!

Спокойно, точно ничего не произошло, Анатолий передал ему пистолет и сказал:

– Жхни на шум.

Руки тряслись, Алексей приказал себе успокоиться, сдержал дыхание, выстрелил в полумрак.

Все стихло. Они прислушались. Пряхин отер лицо снегом, послушал свое тело. В груди, под ребрами, живот, ноги, лицо – все горело.

– Фашисты! – прошептал он, успокаиваясь. – А ты, кажется, одного зацепил, – похвалил Анатолия.

– Едем, скорее! – приказал гармонист. Лицо его было повернуто к лесу. – Слышу шорохи, – сказал он. – Подбираются.

Валя подхватила разбросанное барахло, вскочила на облучок, лошадь, храпящая, напуганная выстрелами, рванула галопом, место стычки осталось позади.

Пряхин вглядывался в темень: вечер ступовал лес в единое черное пятно, только белая дорога светлела.

Когда отъехали уже далеко, сзади появились тени. Щелкнул огонек. Алексею показалось, что кто-то из бандитов закурил. Но тут докатился звук выстрела.

Стреляли бандиты впустую. От злости.

С того дня их словно спаяло. Анатолий шутил: «Сроднились в бою». А что? И сроднились.

Бандитов поймали – Валя уехала тогда из города не одна. За ее санями медленно двигались две машины с милиционерами. Пряхин и Анатолий выступали в суде свидетелями, и Алексей с удивлением разглядывал толстую ряшку главного бандита: на что они рассчитывали – четверо против всех? Шакалы, и только. Четверо против одного, четверо против женщины и двух инвалидов – куда ни шло, но четверо против отряда милиционеров?..

Озлобленными, испуганными глазами оглядывали бандиты зал суда, валили всё на толстомордого, тот усмехался безнадежно и отчаянно. Выяснилось, что он дезертир и дорога ему одна...

Судили бандитов, а досталось и Анатолию. Тягали в милицию не раз и не два, допытывались, откуда оружие. Он доказывал, что получил пистолет за храбрость, называл фамилию генерала и часть, но разрешения на ношение, бумаги, у него не было, и он костерил милицию на чем свет.

– Да поймите, – кричал он, – если бы его не захватил, спать нам под теми кустами. Вечным сном.

Милиционеры кряхтели, признавали его правоту, но пистолет сдать заставили. Один какой-то даже сказал:

– Незрячему с оружием опасно.

– Туды бы их в качель! – кричал Анатолий. Он опять был веселый, жалел, конечно, пистолет, но как-то легко: «Что было, то сплыло!»

Приближалась весна, Пряхин и гармонист в обеденный перерыв располагались на островках просохшей земли, ели свою нехитрую снедь, захваченную из дому, переговаривались о жите-бытье, но всякий раз разговор возвращался к бандитам.

– Будет ли когда такое время, – говорил азартно Анатолий, – когда все люди жить станут достойно? Честно чтоб! Не для других честно, не для видимости, а для самого себя? И чтоб высший судья, главный прокурор для каждого был бы он сам?

– Да-а, – вздыхал Пряхин. – Ну подумал бы тот толстомордый, сколько людей от него страдает! Ну ладно, девчонки мои ему неизвестные, что с голоду еле дышат – ему наплевать. Но подумал бы про себя – попадетсЯ же все одно! Про мать бы свою подумал, а? Каково ей узнать, что сын расстрелян как дезертир и бандит?

Анатолий не соглашался, спорил:

– Какова мать, таков и сын.

– Это ты брось! – строжал Пряхин.

– Ты говоришь, будто в церкви служишь, – смеялся Анатолий. – Всех простить надо! Всех понять!

– Всех простить невозможно, – расстраивался Алексей.

Он оглядывал прозрачное небо, вдыхал в себя весенний воздух, прерывал спор теперь уже привычным для них рассказом:

– Лужа блестит, словно начищенный поднос. Травка под рукой колется – еще не зеленая, желтенькая какая-то, блеклая. Голубь голубку за клюв схватил, целуются.

Потом к своей мысли возвращался:

– А вообще-то только тогда красота наступит, когда всех простить можно будет. – Смеялись. – Не ругайся, я не из церкви! Это значит, что грехи люди совершать станут только прощаемые. А грабеж, насилие, предательство, убийство, измена навсегда исчезнут.

Да, да. И убийство. И измена. Свой грех и грех Зинаиды относил Пряхин сюда, к этому миру, далекому до совершенства, а там, в будущем, ничего такого быть не должно, не может, не имеет права...

– Ты знаешь, – сказал Анатолий, – я хоть и слепой, но очень хорошо будущее представляю. Вот многие думают, будущее – это белые города, нарядные люди, сытые все, конечно. Я не против белых городов и нарядной одежды. Я против тупой сытости, знаешь. Ей-богу! Мне кажется, сытый сытого хуже понимает, чем голодный голодного. Шкура, что ли, толще. Дубеет от сала. А надо, чтобы люди понимали друг дружку. Всегда. Когда поймут, пиши: настало будущее.

Алексей хотел посмеяться над капитаном, но очень уж серьезно тот говорил. Буркнул:

– Это ты хватил – против сытости. Выйди-ка сейчас на карусель нашу, объяви: «Я против сытости». Изобьют.

– Изобьют! – согласился Анатолий. – Потому что это сейчас. А в будущем не изобьют. Задумаются.

– Слушай, братишка! – закричал Пряхин. – Это который же тут в церкви служит?

Он схватил Анатолия за плечи, прижал его к груди, тот вывернулся, Алексея на лопатки повалил. Мужики катались по подсохшей земле, валяли дурака, и хорошо им было, как, пожалуй, бывает только в детстве.

Первым Пряхин опомнился:

– Слушай, неудобно, а? Люди на фронте, а мы тут с тобой как два щенка!

– Я уже свое отпогибал, – захохотал Анатолий, – да и ты тоже! Хочу как щенок! – Он толкнул Пряхина снова, они легли, подставляя лица солнышку.

– «Так ты думаешь, я слепой, сволочь, – вспомнил Пряхин. – А я просто хитрый!»

Они захохотали.

– И палочку в сторону. Ну, думаю, сейчас очки снимет!

Анатолий ржал, как молодой жеребец.

– И трах-трах-трах! Взял ты их в оборот! Не ожидали!

– Эффект неожиданности – есть такой прием в армейской тактике.

– Слышь! – спросил Алексей. – А ты чего ордена никогда не надеваешь? Да если б у меня столько – ночью бы не снимал.

– Неудобно, братишка, – посерьезнел Анатолий, – с гармошкой, у карусели, с орденами. Подумают – слезу выжимает. А так – слепой мужичонка, поди разбери.

Он замолчал. И это молчание Пряхин навсегда запомнил. Бывает же такое – мгновение ли, слово ли, жест запоминаешь на всю жизнь неизвестно почему. Много и слов сказано, и событий всяческих немало, вот даже стрельба, но эту тишину в весеннем солнечном блаженстве Алексей запомнил отчетливо.

И слова запомнил, которые Анатолий потом сказал:

– Вот уж в День Победы все награды надену. И весь день играть стану эту – помнишь? – Он запел тихонько: – Встава-ай, страна огромная, встава-ай на смертный бой...

Опять помолчали.

– Ты же про шар любишь, – заметил Алексей.

– Люблю! – улыбнулся Анатолий. – Страсть как люблю! Слушай, давай в кино ходим, да я этот фильм, «Юность Максима», наизусть помню. Вот увидишь, тебе же еще рассказывать стану – где он с крыши спрыгнул, где вдоль путей бежит. – Гармонист улыбался и, так вот улыбаясь, добавил: – Ну а «Вставай, страна» в День Победы играть надо. Понимаешь: плакать и играть. Чтоб вспомнить всех, кто встал тогда и кто никогда уже не встанет...

Нет, не любил Анатолий высокими словами разговаривать, схватил Пряхина за руку, спросил:

– А какого ты черта? Чего не научишься на гармошке? Легко же! И пригодится.

С того дня учился Пряхин на гармошке.

Когда народу нет – сядет на стул Анатолия, тот рядом стоит, указывает, какую кнопку когда нажать. Или в барабане притулятся на полатах, которые Алексей построил. Или вот тут – на лужайке, которая все больше становится, все зеленей.

Слух, конечно, у Алексея нулевой – на глаз учится кнопки нажимать. Анатолий успокаивает – можно и на глаз, ничего страшного, потом привыкнет и глядеть не надо – на ощупь жми. Получается как будто уже первая строчка: «Крутится-вертится шар голубой!»

Вроде бы по словам вторая строка такая же, а вот по музыке – нет, другая. Елозит Пряхин пальцами по кнопкам, не может выучиться. Вот поди ж ты, музыка – веселое вроде бы дело, а пот выжимает, будто вагон с углем разгружаешь.

Вот такого – потного, с гармошкой в руках – застала Пряхина Маша.

Возникла, точно тонкий цветочек из-под земли вырос.

– Машенька пришла! – засмеялся счастливый Алексей и сразу: – Кушать хочешь?

– Нет, – ответила Машенька и заплакала.

– Что случилось? – всполошился Пряхин.

– Катя тифом заболела. В больницу увезли.

Алексей вскочил, отдал гармошку Анатолию, ругнул себя последним словом.

Успокоился, видите ли! Обменял костюм на муку, полмешка картошки принес – и утешился. Надолго хватит.

Алексей мчался к знакомому дому, едва шаг сдерживая, чтоб Машу не оставить. Тиф! Страшней пули сыпной тиф, еще в мальчишестве, когда шла гражданская, усвоил это. Пуля, если зацепит, то ничего, не убьет, а уж тиф, коли прицепился, не отвяжется просто так, и мало кто выбирался живой из страшных тифозных больниц.

В комнате бабушки Ивановны тошнотворно пахло хлоркой, матрасы на кроватях свернуты кулем, да и сами кровати отчего-то на боку лежали.

Бабушка сидела на стуле, руки между коленок зажала, голова тряслась пуще прежнего – будто хочется ей заплакать, а не может – вот и заставляет себя. Сзади, обняв Ивановну за шею, положив ей голову на плечо, стояла Лиза, и Алексей устыдил себя, что давал себе слово Лизу спасти, всех их вывести из этой войны целыми и невредимыми, а вот поди ж ты – успокоился, не пришел всего несколько дней – и Катя уже в больнице. Да в какой больнице! Сыпняк – дело заразное, не ровен час и девочки с бабушкой заболеют. Горе тебе, Пряхин!

Бабушка поглядела на Алексея, погладила Лизины руки, спросила:

– Неужто конец нам? Где справедливость-то?

Тиф косил семьями, об этом знали все, и у Пряхина от бессилия выступили слезы. Вот увидел он бандитов, не раздумывая в драку ввязался – без всякой надежды для себя, потому что там тоже речь шла о бабушке и девчонках. А здесь? С кем здесь драться будешь? Где-то ползает эта вошь, которая укусила Катю. Может, убили ее санитары хлоркой. А может, и нет. Где увидишь ее, как узнаешь?..

– Вся надежда теперь на него! – проговорила бабушка, поднимая глаза кверху, и медленно перекрестилась.

Алексея будто кто-то толкнул.

– А ну-ка, – приказал он. – Собирайтесь!

Из памяти выплыл госпиталь, последние, перед выпиской, дни, когда слонялся он по коридору, выглядывая, тоскуя, в окошки, читал плакаты, развешанные по стенам. Забытое, ненужное вроде бы выплыло с яркостью и силой. При сыпняке обязательно проходят санпропускник, сдают в обработку, прожаривают в специальных шкафах всю одежду, все белье. И сжигают матрас, где лежал больной. Обязательно сжигают.

Придирчиво, внимательно, собрав в комок волю и те небольшие знания, которыми он располагал, Пряхин оглядывал фанерный шкаф, опустевший комод. Ох, как бедно жила бабушка! Все имущество семьи было на девочках и старухе да уместилось еще в небольшой узел – вместе с оконными шторами и тонкими одеяльцами.

Алексей нес его, отмеривая размашистыми шагами пространство до санпропускника, и бабушка с девочками едва поспевали за ним. Он слышал, за спиной Лиза спросила:

– А как это нас прожаривать станут?

– Больно? – хныкнула Маша.

В другой раз он, может, и улыбнулся, а теперь не посмел, чтоб не сглазить. Вовсе не смешные вопросы были у девочек.

Часа два, которые ушли у бабушки и девочек на санобработку, Алексей использовал с отчаянием тонувшего человека.

Сбегал в госпиталь, рассказал тете Груне о своей беде, но охать и утешать себя не дал – велел достать хлорки. Во дворе бабушкиного дома развел костер и швырнул в него сухие ватные матрасы. Вытащил в огонь щелястый фанерный шкаф. Комод он оставил, комод, судя по всему, был единственным воспоминанием бабушки о ее молодости, зато достал ящики и шуровал по дереву раствором хлорки с тщанием прилежнейшей домохозяйки.

Он промыл все стены, пол и даже потолок, не надеясь на старание казенных санитаров, продраил каждую щелочку, каждый уголок, и к возвращению бабушки и девочек комната их походила на голую казарму, нестерпимо разящую нежилым духом.

Алексей радостно улыбнулся, а бабушка села на стул возле дверей и расплакалась. Пряхин удрученно оглядел результаты своей работы. Ну верно, на первый взгляд Мамай по городу прошел. Кровати топорщатся голыми железными сетками, с потолка свисает на проводе тусклая лампочка, без шкафа комната опустела – сарай, да и только! Но это же нужно!

– Барахло, бабушка, дело наживное, – сказал Алексей бодрым голосом.

– А я не о барахле, – ответила Ивановна. – Катю жалко. Вроде как и след ее вымели.

Пряхин опешил, а девочки заплакали тоже. Он потупился, пристыдив себя: в суете этой мысль о Кате как-то отошла. Торопливо он принялся застегивать крючки на шинели. Мотнул сердито головой.

– Рано, рано! – сказал строго бабушке. – Рано плачете!

Выходя, потрепал по голове Машу, повернул к себе за подбородок Лизу. Взглянул в ее вишневые глаза и неожиданно улыбнулся, словно посмотрелся в чистое зеркало. Пообещал:

– Ждите меня! С хорошими вестями!

Но хороших вестей не получилось. В больнице, где лежали тифозные, сведений о больных не давали, а а маленькой проходной висел лист, куда заносили только умерших. Алексея такое правило ударило. Трясаясь, моля всех святых о пощаде, он прочитал чужие фамилии, вышел из проходной, успокаивая прерывистое дыхание и дрожащие руки. Что ж получалось? Или человек жив, или умер? Никакой середины? Никаких сведений?

Что же? Выходило, вот тогда Алексей видел Катю в последний раз. Она идет с чубатым пареньком, ест ватрушку, улыбается, говорит о чем-то с ухажером, а тот косит глаза в сторону карусели...

Пряхин мотнул головой, отогнал дурную мысль, обернулся озадаченно в проходной – что же делать? Как помочь Кате? Как выцарапать ее из этого барака, страшного не только своим смыслом, но и чернотой его стен, клочком бумаги на стене?..

Из проходной вышел высокий мужчина с саквояжем в руке, похожий на врача или, может, санитаря, и Пряхин бросился к нему, схватил за рукав.

– У вас девочка там! Школьница! Катей зовут!

– Отец? – спросил, не останавливаясь, мужчина, блеснул холодными стеклами очков.

– Отец! – не задумываясь, ответил Пряхин.

– Тяжкая у нас больница, – ответил мужчина.

Пряхин рванул его рукав, материя треснула.

– На кон же хрен ты! – крикнул он отчаянно, свирепея, теряя над собой контроль, и прибавил в неистовстве: – Саквояж!

Мужчина коротко рассмеялся, ничуть не смутившись. Пряхин отпустил его, они пошли рядом.

– Научи! – сказал глухо Алексей. – Что сделать?

- Масло, яйца, сметана, – ответил очкастый.
- Ты помнишь ее? Худенькая такая? Сегодня привезли, – добивался Алексей.
- У нас все худенькие, – хмыкнул доктор. – Помню. Пока плохо.

Пряхин остановился. Вот оно. Плохо. А обещал с хорошими новостями вернуться. И масло, яйца, сметану где взять?

– А насчет саквояжа это смешно, – сказал доктор, не улыбувшись. Алексей поежился от неловкости и побрел к карусели.

На фанерной дверце висел замок. Сердце заныло: значит, опять Анатолий толкал бревно. Он отправился домой к гармонисту. Капитан возник на пороге, обрадовался, потащил к столу. Алексей от еды отказался.

– Зашел предупредить. Я с утра не буду. Пойду кровь сдавать.

Дома он бросил шинель на сундук, прошел к своей постели, вытащил из-под нее мешок, вытряхнул своя богатства на пол. Шарф и портянки – вот и все, что осталось там. Нет, продать или там поменять больше нечего, надеялся до весны дотянуть, да так оно и получалось, если бы не это несчастье, Катина неожиданная болезнь.

Тетя Груня внимательно разглядывала Алексея, сидела в обычной своей позе – одна рука поперек груди, поддерживает локоть другой и подбородок в ладони, а в глазах снова жалость.

Алексей повесил голову над пустым мешком. Тетя Груня будто спохватилась. Торопливым шагом подошла к сундуку и открыла его. Подбежала к комоду, выдвинула ящики. Обернулась к Алексею.

Он улыбнулся, подошел к благодетельнице своей, обнял ее: ох, дорогая душа! Но нет, ничего не возьмет он из этих ящиков. Грешно брать. В сундуке, знает Алексей, лежат костюмы да пальто с шапками мужа и сына тети Груни. В комод – ее собственный скарб: платьишки да белье.

– Думаешь, ничего у меня не осталось? – засмеялся он. – Ошибаешься, тетя Груня! Кое-что еще есть!

Он поднялся спозаранку, побрызгался под рукомойником, съел горбушку хлеба, основательно заправился кипятком: это, говорили, в таких делах помогает.

По странному стечению обстоятельств, донорский пункт и магазин для доноров, в котором по особым талонам выдавали продукты сдавшим кровь, находились в одном доме. В другое время это, может быть, кого-нибудь задело: что ж, выходит, только сдав собственную кровь, можно хорошо отовариваться? Но тех, кто стоял в очереди, ничуть не смущало. Да, в донорский пункт стояла очередь – многие надеялись тут же получить продукты, близость магазина оказывалась как раз порядочным удобством, – и Пряхин пристроился за высоким мужчиной.

Тот стоял, подняв воротник, потом обернулся, и Алексей узнал вчерашнего доктора.

Пряхин поздоровался. Доктор кивнул, пару раз повернулся, разглядывая Алексея, наконец сказал:

– А! Это вы!

– Ничего нового? – хмуро осведомился Пряхин.

– Еще не был в больнице, – ответил врач. И добавил, приглушив голос: – Значит, Саквояж?

Алексей снова поежился.

– Извините, горяча.

Но врач точно и не слушал. Пристально разглядывал Алексея сквозь отпотевшие очки.

– Единственная дочка? – спросил он.

– Да не дочка она, – ответил Пряхин и тут же испугался. – Единственная, ага.

– Понятно, понятно, – кивал доктор головой, а взгляд Алексея снова остановился на его саквояже. Чего ему понятно?

Вдруг Пряхина кольнуло: а почему он спросил, единственная или нет? Что-то случилось?

– Вы правда не были в больнице? – проговорил он сдавленно.

– Я же сказал.

Сказал... Мало ли что сказал. Врачи, они разве спросят что просто так.

Алексей подозрительно оглядывал доктора.

– Я сейчас, – проговорил он, – я за вами, скажите, я сейчас.

Пряхин круто повернулся и кинулся к больнице. Он бежал по улицам городка, задевая прохожих, подстегивая и проклиная себя. Ему ли не знать этого! Сколько провалялся в госпитале! Сколько смертей видел рядом с собой! И знал, точно знал, не только по госпитальным разговорам – своими глазами видел, – что люди умирают под утро.

Как глупо! Забрел новый день, а новый день – всегда надежда, и в это время человек умирает, ослабев от ночной борьбы.

Пряхин ворвался в проходную, когда медсестра, почему-то в черном халате – такого Алексей не знал – вывешивала новый список. Он пробежал по недлинному столбцу фамилий, не нашел Катю и подумал, что ошибся. Сдерживая дыхание, успокаивая себя, он перечитал список снова. Вздохнул. Тьфу! Понемногу откатывало, отлегалось. И чего ему взбренила такая чушь?

Уже не бегом, а короткими пробежками Алексей вернулся к донорскому пункту. За Саквояжем построился длинный хвост, а он заметно продвинулся к входу.

Окончательно успокаиваясь, откашливаясь, улыбаясь, Пряхин встал на свое место.

– Слушайте, – сказал испуганно врач, – я, кажется, что-то не то спросил? Не так?

– Все так! – Алексей глупо улыбался. – Все так. Будет сегодня масло. А через денек яйца. Как вы велели, доктор.

Да он все с себя снимет, всю кровь отдаст, если только за этим стало – за маслом, за яйцами, за сметаной. Только бы Катя поправилась, только бы Катя!

Алексей ободрился, стал озираться и увидел еще одну знакомую спину: Анатолий!

Ну и утро выдалось сегодня! Сперва этот длинный Саквояж. Теперь Анатолий. Стоит в очереди сдавать кровь. Это надо же!

Он подошел к приятелю, спросил, изменив голос:

– Закурить не найдется?

– Некурящий, – ответил бодро Анатолий.

– И непьющий? – в тон ему справился Алексей.

Гармонист узнал его, громогласно захохотал, ткнул кулаком в живот.

– Что это значит? – поинтересовался Пряхин.

– Понимаешь, – серьезно заговорил Анатолий, – ночью я прочитал, что кровь сдавать очень полезно, вырабатываются новые кровяные тельца, и организм молодеет. – Не выдержал, раскатился: – Хочу помолодеть!

– Каким местом читал? – проворчал Алексей, но подошла очередь Анатолия, медсестра крикнула: «Следующий!» – как в парикмахерской, и гармонист подтолкнул Пряхина:

– Я на тебя занимал!

Из донорского пункта Алексей вышел, поддерживая капитана, ощущая слабость в коленях. В голове позвякивали маленькие колокольчики, зато думалось как-то легко, словно глотнул из баллона чистого кислорода.

Магазин для доноров был чист, даже стерилен, как сам донорский пункт, народ по нему прохаживался неторопливо, чинно, не то что в обычном продуктовом, где всегда очередь и воздух согрет и несвеж от человеческой толпы.

Алексей получил топленое масло. Анатолий – свежие яйца. Конечно, неплохо бы попробовать эти забытые лакомства, отведать на зубок, вспомнить, какого все это хотя бы вкуса. Пряхин сглотнул слюну, одернул себя, обложив крепким словцом, аккуратно уложил покупку в авоську. Анатолий попросил:

– Кинь и мое.

Пряхин сложил пакет Анатолия.

– Ты в больницу? – спросил мирно гармонист, и Пряхин подтвердил. – Пойдем вместе, – кивнул Анатолий.

В эту минуту с ними поравнялся длинноногий врач, и Алексею пришло в голову послать передачу с ним.

– Доктор! – окликнул он. – Вы в больницу?

Долговязый охотно остановился, кивнул.

– Охо-хо-о, – протяжно вздохнул доктор, опять внимательно поглядел на Пряхина, – у меня ведь тоже одна дочка. И тоже там.

Вот ведь что... И вот почему он так спросил про Катю. Докторов, значит, тоже не жалует этот проклятый тиф.

Алексей понурился, ему и в голову не пришло спросить, чего это доктор кровь сдавать решил, ведь и доктора – люди, мало ли что, карточки потерял или еще какая нужда, – а выходит-то вот как!

Доктор вздохнул еще раз, спросил:

– Чем отоварились?

– Маслице! – улыбнулся Пряхин. – Вот Кате передайте, а?

Доктор согласился, раскрыл свой саквояж, Алексей сунул туда свое масло, Анатолий протянул пакет с яйцами.

– Ты чего? – удивился Пряхин.

– Ничего, – спокойно ответил Анатолий.

– Какого черта! – зарычал Алексей.

– Передайте Кате привет, доктор! – кивал головой Анатолий. – Да и дочке своей.

– Ждать надо, – вздохнул врач и двинулся своей дорогой, а Алексей костерил гармониста на чем свет стоит.

– Это мое дело, понимаешь! – крикнул он. – И больше ничье!

Анатолий постукивал палочкой землю, усмехался, слушая брань и крики Пряхина, но когда Алексей сказал это, повернул к нему усталое лицо.

– Замолчи, а? – попросил капитан.

Они замолчали оба.

Алексей думал про доктора, про его вопрос, единственная ли дочка у Пряхина, и про докторову дочку, которую не пожалел тиф, не захотел считаться, что у нее отец врач. Про Анатолия. Вон что выходит. Вчера с Нюрой все обрешили. Разве бы Нюра оставила мужа в очереди, не знай наверняка, что Алексей придет сюда и вернутся они вместе. И разве бы пустила Нюра Анатолия сдавать кровь, если бы не Катин тиф? Впрочем, кто мог остановить этого неистового капитана, если он на что-то решился? Скаженный какой-то.

Молча подошли к карусели.

– Гармонь-то у меня сегодня дома, – сказал Анатолий. – Сбегай, братишка!

– Может, и так сойдет? – поленился Пряхин.

– Нет, без музыки нельзя, – грустно произнес Анатолий и задумался. – Я вот думаю иногда, пустяками мы занимаемся, может, лучше к штампу, все-таки железки там для войны делают. А потом думаю – нет. Почитай, во всем городе музыка и веселье только у нас, на карусели.

Алексей хлопнул его по плечу, получил ключ, отправился к Анатолию домой.

Чтобы сократить путь, пошел через рынок. И нос к носу столкнулся с тетей Груней.

Снова занялось болью сердце: тетя Груня плакала в три ручья. Это какая же сволочь, какой мерзавец посмел обидеть ее? Алексея аж заколотило от злости.

– Кто? Кто? – выдавил он из себя, а тетя Груня все плакала, слова связать не могла. Потом рукой махнула и засмеялась. И снова заплакала.

Черт возьми, да что же такое? Ничего не поймешь: то плачет, то смеется. Не успокаиваясь, тетя Груня протянула Пряхину сумку – в ней баночка сметаны, а другой рукой за пазуху полезла и достала свиток денег – все сотенные, целый рулон.

– Ой, Алешенька, соколик, продала я пальто мужнее и сыновнее пальто, и шапки продала, и костюмы оба, никогда столько сразу не продавала, а денег-то, гляди, куча, кабы

не потерять, и чего же я наде-елала, – снова слезами залилась. – Я ведь загадала, как продам, так уж тому и конец, не вернутся.

Пряхин схватил ее за руки.

– Чего наделала! – крикнул он. – Давай обратно. Покупателей найдем, вернем все назад!

– Не воротишь, – причитала тетя Груня, словно на могиле слезы свои проливала, – не найдешь, да и то ведь уж, наверное, нет соколиков моих дорогих, писем не шлют, значит, пропали без вести, лежат где-то в земле сырой, а тут девочка помирает, грех это, нельзя так, нелюдь я, что ли...

– Так и ты для Кати? – спросил ошарашенно Пряхин. И закричал отчаянно, толкая от себя тетю Груню: – Ну зачем же! Зачем! Я кровь сдал, купил ей, чего надо!

– Всю кровь не отдашь, – сказала тетя Груня, успокаиваясь сама, руку Алексея поглаживая. Как тогда, в госпитале. – Всю кровь не отдашь, а Катю мы спасем.

Глава четвертая

Пой, гармошка!

Пой, гармошка, играй, заливайся. Людям радость неси, отогревай душу.

Крутись, карусель, весели детишек: пусть слышится в городке ребячий смех.

Неизвестно, сколько там до победы еще, так пусть смех детский каждый день раздастся. Пусть этот смех победу скорей принесет.

Крутится-вертится шар голубой,

Крутится-вертится над головой...

Слышит Пряхин бодрый, озорной голос Анатолия, сам бревно свое толкает, крутит карусель и, закрытый от всех фанерной обшивкой, плачет, не стесняется.

Господи! Ведь счастлив же он! Как счастлив! И не оттого, что живой остался, нет. Счастлив, что не один. Что тетя Груня с ним, Анатолий. И бабушка Ивановна с тремя девочками тоже при нем.

Одинокий он был, страдал, когда Зинаида ушла, и чего, казалось ему, от войны ждать, одинокому человеку. Смерти?

Он ее не хотел, смерти, не жаждал, но готов к ней был, потому что смерть – это доля солдат, а война ему – на-ка! – счастье поднесла. Через горе и беду – счастье. Да с чем сравнится, с каким золотом-серебром, с каким несметным богатством то, что тетя Груня и Анатолий сделали?

С какими такими кладами?

Верно говорил Анатолий – хорошо все-таки жить. Просто жить, не ожидая от судьбы никаких подарков. Просто крутить карусель эту, слышать ребячий смех. Знать, что ты не один, что ты нужен и что есть на земле люди, которые нужны тебе.

Вот говорят: любовь, любовь. Конечно, любовь все держит. Но не та, не любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине, а любовь человека к человеку. Это – высшее.

И он, Пряхин, любил женщину, Зинаиду, только обманула она его, и удавил Алексей эту любовь, сжал ее в кулак, растер в прах и на прах дунул. Что и говорить, непросто было ему, несладко, но перетерпел, перемог, сердце свое выжег.

Выжег, но жив остался. А без этой самой главной любви, без высшей любви человека к человеку, разве б выжить ему?

Да каждый шаг его проверь – все тому подтверждение.

Тетя Груня, утешительница, спасла его. Анатолий, гармонист веселый, силы прибавил и бодрость внушил. Девочка Маша руку ему дала, в ладонь его свою ладошку хрупкую положила. Лиза, средняя, картофельных лепешек принесла. Бабушка Ивановна, которой он такое горе принес, – и та простила... Да разве ж это не любовь людская?

Высшая любовь. Тут не близкий близкого любит – тут-то бы все понятно, – а чужой чужого. Мог бы и спрятаться от вины, возможности открывались, никто и слова худого не сказал, коли уехал бы он в Москву: мало ли чего не бывает, каких несчастий, а все выжить хотят. Но чтобы выжить, надо другому помочь, вот какое дело. Не себе кусок урвать, а

другому протянуть. Тогда и выживешь. Вот какой закон. Станный вроде, непонятный тому, у кого души нет, но зато кто душу сохранил – тому очень даже понятный.

Отдай другому и сам получишь, вот что выходило у Пряхина. И, свои мысли проверяя, словно жизнь перетряхивая, переспрашивая себя – а верно ли, а так ли? – убеждался он, что путь этот единственный, что любовью человеческой жива душа любого и всякого, что жил он в эти трудные дни благодаря другим – их теплу и сердцу, а на сердце и тепло отвечать обязан тем же.

Так совесть велела.

Утром и вечером заскакивал Алексей в комнатку бабушки Ивановны, недоверчиво щупал лбы у девочек, справлялся, не поднялась ли температура, не появилась ли у кого сыпь, потом мчался к больнице, в роковое, тягостное место – проходную, читал списки, сдерживая дыхание.

Каждое утро и вечер перед глазами Пряхина возникал реестр незнакомых фамилий, черед горя и тоски, и дни его – с гармошкой и веселым ребячьим смехом – как бы окаймлялись трауром больничных бед.

О Кате не было ничего известно. И все-таки было. Ведь передачи, еду для нее брали, значит, она ела, а раз ела, то, выходит, поправлялась.

Однажды Алексей увидел чубатого паренька. Тот стоял у карусели, глубоко сунув руки в карманы брюк, нахохлившийся, грустный, похожий на воробья. Пряхин подошел к нему, и парнишка спросил, не меняя позы, не выражая никаких чувств:

– Как Катя?

Алексей пожал плечами, но все-таки улыбнулся. Надежда, пожалуй, была, хотя ничегошеньки не знал он о Кате.

– Тиф, сам понимаешь. Заходи, – ответил Пряхин.

И паренек заходил. Возникал то на пригорке возле карусели, то у входа, то заглядывал прямо к Алексею, отворив фанерную дверь.

Алексей мотал головой. Или вздыхал. Или просто глядел уставшим от ожидания взглядом, и парнишка опускал голову. Всякий раз, правда, он просил прокатиться. Конечно, разве жалко? Алексей кивал Катиному ухажеру на лошадок, тот выбирал синюю или красную, чаще всего усаживался напротив фанерной дверцы, и Алексей, не закрыв ее, глядел на паренька.

Ох, молодо – зелено! Только что паренек печалился, спрашивая о Кате, а через минуту глаза его светились детским счастьем, он хохотал, чуб трепыхался на ветру, и ни про какую Катю он уже не помнил, весь, до последней косточки, отдавшийся стремительному кружению.

Пряхин не осуждал паренька, напротив, ему нравились эти мгновения чужого и такого простого, такого наивного счастья.

А солнце над городком поднималось днем все выше, и никакого дела не было ему до войны, до беды, до голодухи. Выбираясь из сумерек фанерного барабана, Алексей жмурился в солнечном море, произвольно улыбался, потом строжал, полагая, что бессмысленная радость его неуместна, ни к чему, делился этой мыслью с Анатолием.

Гармонист обзывал его дураком.

– Если хочешь знать, – говорил капитан, – солнышко все понимает. Почтище нас с тобой. Война идет, а оно знает – скоро войне конец. И всем об этом сообщает. – Смеялся. – Ему же с высоты виднее!

– Слушай, мудрец, – спросил его однажды Пряхин, – с какого ты года?

– Родился я, – ответил гармонист, – седьмого ноября семнадцатого. По новому стилю. Человек нового мира.

– Что? – Пряхин выкатил глаза. Анатолий всегда вроде как пример ему подавал, казался Алексею если и не старше, то хотя бы ровесником, а ему двадцати восьми нет.

Новым взглядом окинул Пряхин гармониста. Это верно – черные очки и синие оспины на лице человека калечат, делают старше, но не может быть, чтоб настолько. Ну и досталось

тебе, человек нового мира, хлебнул, видать, а ничего не говорит. Молчит. Орденов полная грудь, и хоть бы слово про войну, про фронт, про свое ранение.

– Так что ты на солнышко не греши, – веселился Анатолий. – Рассказывай лучше, что видишь.

Алексей присел на лошадку, начал свою речь, похожую на причитания тети Груни:

– Воробей в луже купается, перышки распустил, тополь малиновые сережки развесил, трава зеленая, – и споткнулся, точно ударили его.

Да что там ударили – стукнули, да и все, простое дело, – тут не ударили, тут нож всадили. В спину! По самую рукоятку.

– Трава зеленая, это точно, это я и без тебя знаю, – толкал в бок Анатолий, – ты расскажи, какая она зеленая? Чего увидел?

Чего увидел? Траву зеленую увидел, а на ней стоит Зинаида и пальчиком его манит, а за Зинаидой тетя Груня улыбается.

Приехала! Улыбается! Пальчиком манит! Но не это удар в спину.

Другое. Никак Пряхин глаз от Зинаиды отвести не может, от живота ее. Явилась в срамном виде, на сносях. К нему явилась.

Ему дыхания не хватало, ловил ртом воздух, наглотаться не мог. Ну есть ли подлости людской предел? Нагулялась! А теперь заявилась! И пальчиком еще манит!

Сам не понял Алексей, как заскулил он. Не плач это был, не смех, а именно что поскуливания загнанной в угол собаки.

Анатолий его за плечо схватил:

– Что ты? Что с тобой?

Пряхин взглянул мельком на гармониста. Счастливый человек – глаз нет. Не видеть бы и ему собственного своего унижения, оскорбления, измывательства над собой.

– Ничего, – через силу ответил Анатолию. Не говорит гармонист ему о себе, жалеет, видно, раз не говорит, не считает нужным распространяться о том, что было, так вот и он помолчит о том, что есть. Повторил уверенней: – Ничего.

Остыл взгляд Алексея, сделался стеклянный. Смотрит он на Зинаиду и будто не видит ее. Будто не видит тетю Груню. Точно вымерзла его душа. Минуту назад он улыбался блаженно, да уж, видно, так устроена эта жизнь. Из огня да в полымя. Пришла беда, отворяй ворота. И нет – верно он думал! – нет любви между мужчиной и женщиной – между мужчиной и женщиной одна гадость, одна грязь, – есть только любовь чужих людей, единственное и высшее. Все прочее – бред, выдумки, прах, от которого боль непереносимая, слезы измен и унижений, обида и ненависть...

Молча, неотрывным, мертвым, пустым взором глядел он на зеленую, нежную траву, которую мяли, топтали ботинки Зинаиды.

Ушла. Исчезла вместе с тетей Груней, сердобольной до несправедливости. Сгнула, ранив навсегда своим видом Алексея.

– А все же, – сказал бодрым своим голосом Анатолий, – сводил бы меня в кино, братишка! На «Максима». Сколько прошусь. Говорят, идет.

– Пойдем, – согласился Алексей не своим голосом. Но Анатолий словно не заметил. Запел тихонько:

– Крутится-вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть! Брось! Не горюй! Все образуется! Солнышку сверху видней!

Ох, черт побери! Первый раз захотелось Пряхину послать Анатолия по дальнему адресу. Ну ж разве не понять? Есть моменты, когда шутка колом в горле встает. Помолчать лучше. Или напиток.

Вот! Настала пора напиток ему, в самый раз. Алексей вспомнил, когда последний раз пил. Было это после большого горя. Достала тетя Груня самогону где-то, и он пил не пьянея.

– Давай выпьем, – предложил зло Алексей.

– С радости? Или напротив? – засмеялся Анатолий.

– С радости! – крикнул Пряхин, торопясь от карусели. – Еще с какой радости – слезы душат.

На рынке он отыскал, что хотел – стоило только приложить старание, как самогон на рынке находился, вернулся с оттопыренным карманом, прямо из бутылки, через горлышко отпил половину.

– Ты за что? – спросил Анатолий, не уставая веселиться. Они забились в фанерный барабан, сидели на лежанке, дверцу прикрыв.

– Не знаю! – ответил Алексей. – Все равно.

– А я знаешь за что? За детей. Не за тех, кто на карусели нашей катается – эти и голодуху знают, и все другое, что война принесла, – а за тех, кто после войны родится, понимаешь. За тех, кто про такую карусель, как наша, и понятия иметь не будет – достанет им хорошей, настоящей радости. В общем за тех, кто не будет знать, что такое война.

Анатолий опрокинул бутылку, отпил свою половину, его передернуло. Хлопнул Пряхина по руке:

– Айда в кино!

Точно поменялись они местами.

Когда в фойе вошли, билетерши за спиной шушукались, головами покачивали – как их не понять: слепой в кино пришел. А погас свет, и Анатолий с Пряхиным будто глазами поменялись.

Алексей глядел на экран и ничего не видел. Что-то происходило там, что-то говорили и делали артисты, но, спроси его, ничего бы не вспомнил. Зато незрячий Анатолий улыбался во весь рот, шептал Алексею: «Теперь побежал! Теперь остановился! Сейчас песню запоет!» – и точно, артист пел все ту же, любимую Анатолия. Единственно, что доходило до Алексея, – это песня. Да и то не потому, что он слышал ее сейчас, а потому, что знал раньше.

Крутится-вертится, хочет упасть,

Кавалер барышню хочет украсть!

Вот тебе и вертится-крутится! Докрутился шар голубой! Довертелась Зинаида!

Она не выходила из головы Алексея. Волнами, постепенно захлестывая его, наплывало новое чувство – ненависть.

Он ненавидел Зинаиду. С каждой минутой все больше. Явилась полнехонька! Ну ладно, ее жизнь – ее дело. Как она там и что у нее – его это не касается. Все для Зинаиды Пряхин сделал. Поехала в Москву как жена. Пропала? Пошла своей дорогой? Все – ладно, все – так. Но зачем же являться сюда? Зачем сердце чужое рвать? Зачем измываться? Живи своей жизнью, отстань, не трогай, подумай: можешь боль причинить.

Алексей почувствовал руку Анатолия. Тот взял Пряхина за запястье, шепнул:

– Счастливец!

Алексей словно проснулся. Вроде как оголенным проводом его задело и током тряхнуло. «Счастливец»? Да чем же он счастливец-то? Зинаидой, может, ха-ха! Горем своим – тем, в гололед?

Но Анатолий повторил:

– Счастливец! Все видишь!

Да разве же этого достаточно: видеть, дышать, жить, чтобы быть счастливым? Мало этого, очень мало! Здоровый, зрячий, сытый может быть последним бедолагой, разве это не ясно?

Когда вышли из кинотеатра, капитан посоветовал:

– Только лошадей не гони!

Про что он?

– Решать будешь, лошадей не гони! Сплеча не руби!

Вон как. И впрямь ведь слепой, а все видит. А лошадей – лошадей гнал не он. Не он и виноватый.

Вечером тетя Груня подступиться к Алексею взялась:

– Смягчись, соколик, смилуйся!

– Да о чем ты говоришь, святая? Зачем и правое и неправое рядом умащиваешь?

Тетя Груня расстроилась:

– Даже в старое время говаривали: не вели казнить, дай слово молвить.

– Какое еще слово? – рассвирепел Пряхин.

Тетя Груня его рассматривала внимательно так – голову поворачивала то в одну сторону, то в другую. Словно картинку. И картинка та отливает на свету, блестит. Уперлась рукой в подбородок.

– А такое, – сказала, – с поезда ее сняли перед Москвой, далее не пустили, потому как тебя, мужа то есть, не оказалось, и застряла она, бедная, на какой-то станции. Спасибо, люди добрые и там нашлись, пригрели, уголок нашли, на работу устроили, пока вот не радость эта.

– Какая радость? – задохнулся Алексей. – Беда!

Тетя Груня его перекрестила издалека, как тогда, на вокзале, когда уезжали Пряхин и Зинаида в Москву.

– Окстись! – прошептала. – Сглазишь! И так боится тебя, к подруге ушла, здесь ночевать не согласилась.

– Тетя Груня, что ты мелешь! – Алексей так сжал кулаки, что костяшки побелели. – Да ведь она мне, ведь она...

Он задохнулся, но тетя Груня его оборвала:

– Тебя самого беда обидела. Как же ты другого человека понять не можешь?

Пряхин всю ночь не спал. Эти слова тети Груни как бы остановили его. Занес он меч над Зинаидой, а добрая тетя Груня нашла такое словечко, что меч застыл. Совесть в палаче пробудила.

В палаче? Думал Алексей ночью над этим страшным словечком, и по всему выходило, что это он, великий, при жизни не прощаемый грешник, вдруг сам же становился палачом Зинаиды.

Какое право у него судить другого, коли сам осужденный?

Наутро он поднялся ни свет ни заря и ушел в больницу. В проходной висели вчерашние списки, новых еще не было, и он топтался на улице.

Утро занималось розовое, нежное, солнце выкрасило крыши городка неземными красками. Поверить Анатолию, так здесь рай, а не жизнь – ведь солнцу виднее с высоты. Розовые дома с желтоватыми, золотистыми стенами. Тополя высеребрены дорогой чеканкой. А зелень отливает голубым. На земле такого и не бывает. Неправда все это – обман зрения. Картинка, показанная из другого мира.

Вот поднимается солнце чуть выше и само же фантазию свою сотрет. Будут дощатые бараки, рубленые избы со старыми, протекающими от дождей тесовыми крышами, грязные тротуары – все будет как есть оно в самом деле.

И никаких иллюзий.

В больницу шли врачи, санитары, сестры – к утренней, видать, смене, и Алексей увидел того, долговязого с саквояжем. Длинноногий доктор кивнул ему издалека, сказал доброжелательно:

– Катя-то ваша молодец! Забирайте!

Словно плыл Пряхин по волнистому морю. То вниз его швыряло, то та же самая волна выкидывала наверх. Катя! Поправилась! Наконец-то!

Он кинулся к дому бабушки Ивановны, Бежал по улице, всматривался в лицо городка и удивлялся Анатолию. А ведь он прав, веселый гармонист. Прав снова! Солнцу с высоты виднее. Городок цвел красками неземной красоты, только – вот беда! – не все замечали это! Шли, понурясь, на работу, брели в школу и даже озирались по сторонам, а красоты этой не видели. Нет!

И вот Катя.

Хлопает глазами – они как будто больше стали на истаявшем, исхудавшем лице. Стоит в платьице – бабушке школа Катина помогла, подарили чужое платье, нарядное, правда, красное с белыми горошинами. Ножки тонкие – с руками сравнялись. Голова под нулевку стрижена.

Не поймешь, что за создание: голова мальчишки, одежда девочки. Стоит в дверном проеме – руки по швам, лицо к Алексею. Он руки к ней протягивает, губы зубами прикусывает – чтоб не тряслись и чтоб не расплакаться. Руки протягивает, а сам боится, как бы Катя назад не отступила, не сказала опять: «Не нуждаюсь!»

Но Катя стоит, и тогда Алексей подхватывает ее и берет как маленькую – господи, какая пушинка!

Он поворачивается и показывает Катю на вытянутых руках бабушке, Лизе и Маше. Вот она! Жива. И все слава богу!

Бабушка справа, Лиза слева, Маша сзади – втроем держат Катю. Идут медленно, махонькими шажочками. Алексей движется сзади. Оглядывает нелепую кучку. Сердце сжимается у него.

Что ж выходит – обошлось?

А если бы нет!

Сил у Пряхина думать о таком не хватает. Да и солнце не дает: палит яростными лучами, размягчает. Алексей снова настороже. Сколько раз было: только радость настанет, как снова беда. Вздрагивает, озирается. Они мимо госпиталя идут. Алексей просит остановиться, бежит за тетей Груней, появляется с ней.

Тетя Груня целует Катю, будто не видалась давно, а так – родные, хорошо знакомые, и вдруг протягивает ей яблоко. Надо же, чудо какое! В городке яблоки вырастают маленькие да кислые, а тут золотое, желто-розовое, прозрачное, кажется, даже косточки видны.

– Раненый угостил! – говорит тетя Груня. – Южный человек. Так это тебе, деточка, поправляйся скорей! – А сама платочком глаза утирает.

Они идут дальше. И вдруг Пряхин видит, как по другой стороне чубатый парнишечка движется. И не один – с какой-то девчонкой. Не в обнимку, ясное дело, даже не под ручку, но идут, весело смеются и видят Катю.

Алексей обрадовался, думал, парнишечка дорогу перебежит, с ними двинется, но тот только кивнул, и Катя ему кивнула.

Пряхин заметил, как парнишечка замедлил шаг, наверное, поразил Катин стриженный вид, смутил, что ли, ах, глупый человек! По Катиним щекам прополз нездоровый, пятнами, румянец и исчез, уступив место какой-то просини! Это ж надо! Что он с девчонкой делает!

Алексей резко повернулся, побежал за парнишкой, настиг его, схватил за руку.

– Но ты же приходил, спрашивал!

– Но и что? – высвободился тот, но покраснел, до кончиков волос покраснел. – Это вы ей дядя, а я ей не муж.

Пряхин хотел было хлобыстнуть его: щенок ты этакий, как можешь! Но рукав мальчишки отпустил. Подумал, к пацану этому стараясь прицепиться: не зря он на карусели катался, наверное, покататься и приходил. Но тут же себя одернул.

Эх зелень! Все у них не всерьез еще, все по-детски. Катю только жаль. Да еще в такой день.

Он чертыхнулся, пошел вдогонку за бабушкой и девочками, настиг их быстро. Только Катя и заметила, кажется, его действия, посмотрела растерянно, вспыхнув при этом, он не выдержал, глаза спрятал.

Катюша, дорогая, как тебе сказать? Образуется все, пройдет. Это у тебя детское, словно корь. А ты вон тиф, тяжелую болезнь, уже перенесла. Пройдет! Только сама будь... Он подумал: не как Зинаида, и плюнул с досады. Опять Зинаида! Да что его, заколодило на ней?

Вечером после работы Алексей пришел к бабушке с Анатолием. Гармонист развернул свой инструмент и по случаю такого праздника завел:

Выходила на берег Катюша,

На высокий берег, на крутой!

Когда шли сюда, Алексей рассказал ему и про Катюшу, и про того парнишечку, и про то, как он опрометчиво, пожалуй, поступил сегодня, не заставив парня хотя бы для видимости навестить девочку.

– Правильно и сделал! – отрубил Анатолий, и вот теперь, перед праздничной пшенкой – раздобыла где-то Ивановна, – наяривал на гармошке. Маша и Лиза ему подтягивали, потом запел Пряхин, не устояла и бабушка. Одна Катя молчала, она была растерянна, верно, парнишечка крепко засел ей в сердце, но, с другой стороны, вышла она из больницы, а это праздник, да еще какой.

Вот и она подтянула, запела, улыбнулась все-таки. Алексей словно камень с сердца свалил: вздохнул облегченно. Верно, Катюша, только одна любовь сильна на этом свете – чужих людей. Вот они сидят тут за столом, слепой Анатолий и Пряхин, чужие люди они семье Ивановны, а не разведешь.

Алексей взглянул на Анатолия и будто споткнулся. Давала трещину его теория. Какой же Анатолий ему чужой? И разве бабушка Ивановна с девочками – чужие?

– А ну-ка, ученик! – закричал Анатолий, передавая Пряжину гармонь. – Давай теперь ты.

Алексей взопрел от волнения, но все же не отказался, скосил глаза на пуговицы, запел хрипловатым голосом:

Крутится-вертится шар голубой...

Не выходило у него так, как у капитана, – ловко и легко, но все-таки получалось немножко. А сегодня прямо-таки здорово выходило!

Так казалось ему, по крайней мере.

Девочки, бабушка, Анатолий – все вместе, за одним столом. И он, Пряхин, их гармошкой веселит. Все улыбаются, разглядывают его, будто чудо какое.

А бабушка Ивановна даже головой как будто меньше трясет.

В ночь под Первое мая неожиданно гроыхнула гроза.

Приподнявшись на постели, Алексей вглядывался в заоконную сумятицу. Крупные капли со звоном бились в стекло, струи соединились в плотный занавес, спрятавший дома, – по занавесу пробегали острые, ломаные молнии.

Пряхину не спалось, и, выглядывая за окно, он подумал, что на душе у него точно на улице – такая же неразбериха. Смешались тоска и радость, но ведь радость, известное дело, избывна, коротка, пройдет, а ее место заступят заботы и тоска, скрывшаяся вроде до поры в тень, выйдет и займет всю его грудь и все сердце.

Алексей лежал с широко открытыми глазами и думал про Зинаиду. Вечером тетя Груня сообщила, что ее отправили в роддом и надо ждать радости. Он ничего не ответил старухе, прошел за свою занавеску, лег на кровать.

Теперь, когда отступила первая боль, пробовал Алексей разобраться в Зинаиде. Ведь как уговаривала уехать! Какие слова выбирала! Дескать, нас беда снова вместе свела. И он поверил. Бывает и такое, что ж. Счастье и благополучие разводят, а беда обратно соединяет. Зинаида ведь тогда казалась страдающей. Настрадавшейся, хлебнувшей горя, не сердцем, а умом решившей вернуться в прошлое.

Как она сказала тогда? «Все – сначала!» И он ведь эти слова знал, тоже их выболел. Хотел начать в городке – уютном и теплом – всю свою жизнь сначала, да не вышло, не получилось.

С самого начала невозможно, не бывает с начала. Жизнь отмерена человеку раз, вот в чем дело. Повернуть да попробовать по новой – так нельзя, против правил. Вот он и остался.

А она уехала. Значит, жизнь Зинаиды должна была продолжаться по той дороге, тем поездом, идущим до Москвы. И вот вернулась, хочет повторить, как тогда: Петро погиб, и она пришла к Алексею. Но сейчас-то кто погиб? Какой еще там Петро?

О чем же думала она, когда возвращалась? На кого рассчитывала?

Что Пряхин – Христос? Все прощающий, все сносящий. Принимающий страдания как должное, как то, что ему отведено на роду.

Нет, он не такой. Тетя Груня – вот она умеет это. Все простить и понять. А он – дай бог ему со своими бедами справиться, нет уж, Зинаида, уволь...

Неожиданно, словно молния озарила память, вспомнил он слякоть, глину на склонах, когда машину его заносило, околевшую прямо в оглоблях лошадь и Зинаиду, сидящую в грязи.

Пряхина словно хлестнуло – а может, а может...

Вот он на пороге комнатки, похожей на пенал. В углу железная койка, у стенки столик и табурет. И они...

Пряхин выругал себя за этот порыв, за эту случайную близость – необъяснимую, ненужную, не принесшую радости: все случилось точно в тумане, в полусне.

Алексей поглядел в окно. Гроза продолжалась. И в душе у него тоже шла гроза...

Но ведь это было!

Пряхин ударил подушку кулаком. Мало ли что было! Он ведь взрослый человек. Вон как миловались они с Зинаидой тогда, до войны, но ведь не тронуло это ее, не задело. При чем же он сейчас?

Боль снова вцепилась в Алексея – въедливая, неотступная, злая.

А молнии вспыхивали одна за другой.

Они мелькали беззвучно, и, чуть переждав, громыхал гром. Артиллерийской канонадой входила в городок весна.

Не узнать городок! За ночь вымылся, вычистил грозой свои улочки, до желтого влажного блеска промыл булыжник, деревянные тротуары, тесовые крыши. Сполоснул и карусель возле рынка.

Да что карусель, музыку и ту, кажется, помыл – звонче поет гармошка Анатолия, разливается на все голоса.

И народ на гармошку валом валит: еще бы, наши войска в Берлине! На лужайке возле карусели гулянье. Гуд стоит, смешки раздаются, то и дело под гармошку Анатолия кто-нибудь в пляс пустится – так что как бы на два фронта играет: для карусели и для плясунов. А к лошадам – голубым и красным – очередь петлей вьется. Сегодня не одна малышня – и взрослые покатаются не прочь. Планшетка на боку у Анатолия от рублевок распухла, Алексей гимнастерку скинул, майку снял – голый по пояс круги свои совершает, пот с него градом валит, и галифе у ремня мокрое, хоть выжимай.

Вроде как можно бы и перекур устроить. Или выбраться из фанерного барабана, кликнуть охотников – нашлись бы, что говорить! – да и гармониста сменили – отдохните, инвалиды, а мы сами тут повеселимся. Можно бы и так, что говорить. Только рот открой, но неудобно, нельзя. Все же простои у них есть в рабочие дни. Надо наверстывать, веселить народ, да еще сегодня, в Первомай, когда наши там, в самом фашистском логове!

Вот и добрались до гадов! Скоро, скоро победа! Уж не ее ли дожидаясь, помылся, почистился городок? Уж не по этой ли причине люди толпятся у карусели? Точно чего-то ждут не дождутся.

Время от времени Пряхин, мокрый и взлохмаченный, приоткрывал фанерную дверцу, смотрел в щель на толпу, высматривал знакомые лица, ждал девочек. Но их ждать не требовалось – сами пришли. Все втроем возникли в дверном проеме, он смутился своего вида, особенно шрамов на животе, потом махнул рукой – вроде как рабочего вида не стесняются, – усадил их на полати.

– Тут еще интереснее! – сказала Маша, оглядывая крутящийся сумрачный барабан.

Алексей ликовал, глядя, как девочки прижались друг к дружке на его лежанке, словно три голенастых птенца. Катя повязала голову косыночкой под стать платью – красной, кумачовая вся, даже, кажется, лицо ее порозовело от красного цвета – смущенно отводит глаза. Маша – та на Алексея зыркает простодушно, зрачки как два фонарика – то туда, то сюда, – не моргая, разглядывают мир, ожидая добра. Лизины глаза смотрят осторожно и ласково, утопая в густых ресницах. Она как бы посерединке – между Катей и Машей. Нет еще взрослого смущения во взгляде, но нет и детской наивности – в ее возрасте настало благостное равновесие, полное надежды и веры.

Вот сидят, притулились друг к дружке три девочки, три будущие женщины, три матери, крутятся вместе с каруселью и не думают о своем высоком предназначении. Страшно, что столько мужчин погибло в войне, но страшнее, если вместо мужчин погибли бы женщины, ведь женщина – всему начало и всему продолжение на этом свете.

Алексей остановился. Музыка стихла – Анатолий собирал рублевки, впускал на карусель частицу очереди.

– Мы не знаем, – произнесла охрипшим от волнения голосом Катя, – как вас называть...

Пряхин оторопело взглянул на нее, отвел взгляд и усмехнулся. Действительно, ни бабушка, ни девочки никак не называли его. Он был для них просто солдат. Наверное, даже, пожалуй, имя его им известно, да и фамилия тоже, но до сих пор обходилось без этого.

– Алексеем меня кличут, – сказал Пряхин и добавил: – Ивановичем.

Катя кивнула, и Маша пискнула:

– А можно дядей Лешей?

Грянул туш – знак, что пора начинать. Алексей уперся грудью в бревно, карусель неохотно тронулась, набирая скорость, разгоняясь, и, отвернув голову, чтобы не видели девочки его лица, Алексей крикнул:

– Можно!

Дядя Леша!

Он думал весь день, как скажет об этом Анатолию. Как тот засмеется, ткнет его куда-нибудь в бок или в живот, скажет: ну вот, видишь, солнышку сверху виднее, я же говорил тебе, Фома неверующий, – закатится, зальется веселым дребезжащим смехом, который Алексея жить заново научил.

Ах, кабы знать да ведать!

Остановил бы Алексей карусель, выбрался к Анатолию, поговорил с ним на прощание, сказал самые главные и важные слова, которые люди друг дружке при расставании говорят. Но ничего такого не сделал Пряхин. Крутил карусель, толкал перед собою бревно по кругу, потел, как лошадь на току, радовался своему маленькому счастью – «дядя Леша!» – и не думал, что в такой умытый, праздничный день, когда и крыши блестят, как новые, когда люди улыбаются, праздника ждут, когда трава, освеженная грозой, ударила в рост, не думал, что в такой вот добрый и ласковый день может случиться беда.

Карусель крутилась до позднего вечера, а вечер в мае наступал не скоро, и допоздна звучала у рынка гармошка. Потом все стихло.

Пряхин подождал новой команды гармониста, но ее не было, и он принялся обтирать мокрое, потное тело майкой. Не спеша причесался, надел гимнастерку, подпоясался ремнем, сунул майку в карман галифе и вышел к лошадам, вдыхая теплый, напоенный весенними ароматами воздух.

Анатолий сидел, положив голову на гармошку, – устал, видно, зверски, ему же досталось будь здоров.

– Ну и денек выдался, а? – спросил его Алексей, но гармонист не ответил.

Пряхин взглянул в его сторону, но ничего не понял. Был он переполнен своей тихой радостью, этим вечером – теплым и ласковым, воздухом, обдувавшим разгоряченное, усталое тело.

– Братишка! – окликнул он Анатолия. – Ко мне девочки приходили и...

Ему показалось, что Анатолий сидит как-то неестественно, – откинувшись телом на спинку стула. Голова неудобно лежала на гармошке.

Одним прыжком Пряхин приблизился к гармонисту, осторожно положил ему ладонь на плечо, хотел спросить, что случилось, и отпрянул. Рука Анатолия безжизненно поехала вниз, растянула мехи гармошки, и та издала бессмысленный, протяжный звук.

Анатолий! Гармонист! Капитан!

Как только не звал Пряхин друга, каких только не выкрикивал слов в истерике, в плаче, в безумной, нежданной беде.

Нет! Это было невозможно, невероятно!

Анатолий? Веселый человек, который и ему, Алексею, веселье внушал? С чего бы? Почему? Так? Вдруг?

Ведь он же не жаловался никогда. Никогда ни словечка не вымолвил про свое здоровье. Одним он тяготился – темнотой. Видеть он хотел, вот и все, но от слепоты не умирают. Слепые живут. А он?

– Анатолий! – кричал Алексей, сходя с ума. – Братишка!

Он не сдержал себя.

Он кричал, как ребенок.

Нет, в это нельзя поверить! Он боялся за Катю, и только что беда отступила от нее. Он боялся за бабушку и ее девочек, потому что был в ответе за них. За Анатолия он в ответе не был. Но не потому, что не боялся за него, не потому.

Гармонист смеялся!

А ведь когда человек смеется, у него должно быть все в порядке.

Алексей осторожно положил Анатолия среди лошадок – красных и синих, – снял черные очки и заглянул в пустые, страшные глазницы.

Мертвым закрывают глаза, но веселому капитану война давно их закрыла. Давно увидел он черноту, не признавая ее своей смертью. Смеясь над ней.

Алексей замер над другом. Рядом стояла гармошка. Отработал честно день, выдержал праздник от начала и до конца, сделал свое дело и умер. Шаг за шагом, точно распутывая клубок, вспомнил Пряхин их с Анатолием дни.

Зимняя, такая странная и ненужная карусель. Голос гармошки и веселая, не к месту, песня. Первый разговор и поездка в деревню. Бандиты на дороге, и Анатолий, стреляющий на голос. «Ты думал, я слепой, а я хитрый!» – крикнул он тогда толстомордому и начал палить в сторону бандитов. Пистолет был подарен ему за храбрость, да еще куча орденов была у него – вот и все, что знал Алексей про войну Анатолия. Не хотел он говорить о фронте. Не желал вспоминать, и все. А ведь мог бы вспомнить, хвастаясь. Ордена за так на войне не дают.

Но он не вспоминал. Все смеялся. Думал о будущем. Пил за ребяташек, которые только после войны рождаются. Говорил, что ордена наденет лишь в День Победы – боялся ими слезу выжать. Кровь сдавал, чтобы Катю спасти, Алексею помочь.

– Братишка! – крикнул Пряхин. – Братишка!

Из тьмы на крик вышла Нюра. Алексей обернулся к ней, подавил стон: ей же еще тяжелее.

Нюра молча припала к Анатолию, а когда подняла голову, стояла глухая ночь. Алексей взгляделся в Нюрино лицо, но слез не увидел.

– Каждый день ждала этого, – сказала Нюра. – Он же осколками напичкан. Один был у сердца.

Горе! Да отступишь ли ты когда от людей?!

Будет ли, настанет ли когда такое время, когда лучшие станут жить вечно, а не умирать совсем молодыми?!

Почему несправедливо устроен мир?

Ходят по белу свету фашисты, прячутся дезертиры – толстомордые, здоровые, как тот бандит, снесу им нет, – а добрые, хорошие, настоящие умирают под вражьей пулей, под осколком, который у сердца притаился, под укусом тифозной вши, под тоскливой хваткой голода... И можно ли придумать способ, чтобы справедливость восстановить?

Чтоб в мире этом новом ходили по улицам седые добрые старики и старухи, чтоб наставляли они молодых на чистый путь, чтобы рядом с ними жили только хорошие люди – мужчины и женщины, – верные друг другу, любящие стариков и детей, почитающие старость и детство, всегда и ко всем – без разбора – справедливые.

Ведь тогда же настанет благоденствие и покой на земле. Исчезнут, забудутся навеки войны. Здоровые и красивые люди оберегут своих детей не просто для продолжения рода, но для продолжения справедливости и чести!

Нет, не сбила Алексея с ног война, ранение, беда, которой настиг он бабушку Ивановну и девочек, – справился, выдюжил, хоть и с болью, с трудом, а тут не выстоял. Сбила его с ног смерть Анатолия.

Продал шинель и запил.

Умолкла карусель, не поет гармошка отчаянным, веселым голосом. Грех веселиться! Ходит по рынку Алексей Пряхин с мутными глазами. Выйдет, пошатываясь, с рынка – к дому бабушки Ивановны приблизится. В дом, однако, не войдет, двинется к госпиталю. Постоит бессмысленно возле лестницы, на которую, в эту жизнь возвращаясь, вышел когда-то. Лучше бы не выходил, не возвращался. Потом к баракам идет, где Катя с тифом лежала.

Умолк Алексей. Ни с кем не говорит, ни на чьи вопросы не отвечает. Словно застыл, замер. Бродит по городу, точно обходит места счастья своего и своих испытаний.

Проверял – правда ли вешки эти имеются? Или выдумал кто их?

Когда хмель выветрит, снова на рынок идет. Заправится самогоном и дальше – бродяга, и только.

Бродяга? У бродяги путь бессмысленный и пустой, а дорога Пряхина к точке ведет. Каждый вечер обрывает он лабиринт своих следов возле порога Нюрино дома. Дома Анатолия.

Входит молча, берет гармошку капитана, перебирает кнопки, потом поет:

– Крутится-вертится шар голубой...

Дальше первой строчки его не хватает, долго сидит он, повесив голову, потом, уже ночью, приходит домой. Замертво падает на кровать. Эх, житуха, и на что ты нужна! Все минуло, все позади, кажется Алексею.

Только так уж устроен мир: жаждет человек жизни, а ему – смерть, просит смерти, а ему – жизнь. Да еще и радость.

Растолкала тетя Груня под утро Алексея, кричит и плачет, плачет и кричит:

– Кончилась война, Алешенька!.. Войне конец!..

Он вскочил, обнял тетю Груню, и всего его затрясло: подумал про Анатолия. Это ж надо! Неделю и не дожил-то! Неделю всего!

Смеялся и плакал Пряхин, будто наперегонки с тетей Груней гнал – кто кого пересмеет и переплачет. И радость и беда его так смешались вместе, что не знал Алексей, чего в нем больше, может, поровну того и другого, а все смешалось, и оттого нет в нем ни чистого счастья и ни чистого горя.

За окном раздались редкие выстрелы – кто-то палил на радостях в небо, – смех и оживленные голоса.

Алексей надел гимнастерку, надраил давно нечищенные ботинки. Смешно он выглядел, начисто списанный солдат: гимнастерка без погон и без единой медальки, галифе, носки, прикрывавшие низ брюк, и ботинки. Пугало огородное, а не солдат.

Но сегодня это не мешало. Он торопился, а его на каждом шагу останавливали женщины, обнимали, плакали, говорили какие-то добрые слова, ласково называли «солдатиком».

Солдатик! Только с кем воевал ты, солдатик? С врагом или с собственным горем?

Пряхин обнимал в ответ незнакомых женщин, опять, как тогда, в начале зимы, все ему казались на одно лицо – продвигался на несколько шагов, вновь останавливался, снова кого-то обнимал.

В одно мгновение взгляд его остановился в небе. Снова сияло оно небывалой голубизной и свежестью, солнце вставало из-за крыш – медное в надземной дымке, нарочно, кажется, притушившее свой жар, чтобы в это утро люди могли разглядеть его. Анатолий! Ведь он говорил, что солнышку все виднее сверху, значит, оно видит Победу лучше, чем люди. Но гармонист не видит Победы, не дождался. Убит.

Да, капитан был убит застрывшим у сердца осколком, и Пряхин вспомнил один разговор – про ордена, про то, как Анатолий собирался надеть их в День Победы.

Алексей прибавил шагу. Нюра как будто ждала его.

Поднялась навстречу Пряхину, одетая, готовая идти. Алексей взял гармошку, они вздохнули враз, точно о чем-то сговаривались, оглядели комнату, где жил Анатолий, перешагнули порог.

На карусели Пряхин прочно уселся на стул Анатолия. Развернул мехи. Он пел единственную песню, которой научил его друг:

Крутится-вертится шар голубой,
Крутится-вертится над головой,
Крутится-вертится, хочет упасть.
Кавалер барышню хочет украсть.

Нюра стояла перед каруселью, глядя невидящими глазами на гармошку, на Пряхина, глядя мимо карусели, мимо городка, куда-то в невидимые отсюда места, на фронт, может, на войну, где ранило Анатолия, изрешетив его осколками, отобрав у него глаза и в конце концов жизнь.

Алексей видел, как рядом с Нюрой возникла бабушка Ивановна, затрясла седой головой, девочки, молчаливые и угрюмые, совсем не праздничные, как подошли еще какие-то женщины, слышался смех, точно неделю назад – на Первомай.

Площадь у карусели оживала, гул повис над ней, чей-то озорной голос крикнул:
– Эй, гармонист, сыграй плясовую!

Алексей вспомнил, как Анатолий хотел играть в этот день «Вставай, страна огромная!». Вот бы и ему сейчас грянуть эту песню – торжественно и скорбно. Но он не умел играть ее. Знал одно и это завел снова:

Крутится-вертится шар голубой...

И тут он увидел, как сквозь толпу к нему пробирается тетя Груня. В одной руке у нее белеет бумажка, другой она машет Алексею – отчаянно, точно тонет и надо ее спасти.

Пряхин поднялся, поставил гармошку на стул, закрепил ремешком мехи. Подошел к Нюре, тронул ее за плечо.

Нюра очнулась, кивнула ему, а тетя Груня его уже обнимала.
– Гляди! От сына письмо!

От сына! Сколько ждала его тетя Груня, вот и Алексея гладила по руке, утешала, от боли освобождала, а думала про сына своего, который вот так же, может, валяется, зубами от боли скрипит, – ждала и дождалась.

Прижал Алексей к себе спасительницу и утешительницу – вот наконец-то долгожданная справедливость! За добро добром должна отвечать судьба, и тетя Груня давно свое заслужила.

– И от мужа придет! – сказал Алексей тете Груне, она отмахнулась, крикнула, срываясь в плач:

– Так не бывает!
– Будет! – серьезно ответил Пряхин.

В глазах тети Груни мелькнула надежда, вера, что Алексей знает поболее ее, а оттого, может, и впрямь все сбудется.

И Пряхин знал – сбудется.

В эту секунду ощутил он неожиданно горячую волну, которая в нем взметнулась, заполнила все его существо. Он теперь верил в себя. Сила жила в нем. Сила уверенности и правоты.

Всем он тут, на этой площади, предсказывал облегчение. И бабушке Ивановне с девочками. И тете Груне. И себе. Да, и себе.

– Пойдем-ка, – тащила его за собой тетя Груня. – Это не все!
Не все? Что же еще?

Тетя Груня подвела его к углу дома напротив карусели. Притиснула зачем-то к стене. Потом перекрестила, и губы ее затряслись. Сказала:

– Выгляни за угол!

Алексей выглянул за угол. Прижавшись к стене, стояла возле дома Зинаида с большим свертком, в каких младенцев носят.

– Ну! – только и сказал он.

Зинаида, не улыбаясь и не говоря ни слова, откинула край свертка, и на Алексея глянуло его светлыми глазами маленькое существо.

– С сыном тебя, Алешенька! – услышал он голос тети Груни, но ничего не ответил.

Внимательно, строго глядел он в глаза Зинаиды, и та взгляд не отвела, кивнула на куль:

– К празднику, видать, торопился... Раньше сроку.

Она протянула ему сверток, протянула розовое существо, чмокавшее соской, и Алексей растерянно принял эту живую плоть, этот кусочек жизни. Невесом был сверток, легкий, как пушинка, казалось, ничего не весила новая жизнь.

Сзади, на площади, заиграла гармошка. Алексей встревоженно обернулся. На карусели, возвышаясь над толпой, стояла Нюра и играла вальс «Амурские волны». Оказывается, умеет играть...

Алексей вздохнул, шагнул вдоль дома.

– С Победой, Алешенька, – услышал он голос Зинаиды и ткнулся головой в стену.

Плечи его тряслись, а слезы капали прямо на сверток с ребенком.

Маленькое существо безмятежно улыбалось, глядело куда-то вверх, будто норовило заглянуть выше и дальше, в свое будущее.

Дитя, рожденное не любовью, а горем.

И все-таки – дитя.

Комментарии

Голгофа. – Впервые в журнале «Знамя», 1979, кн. 8. Отдельное издание: *Голгофа*. Повесть. М., «Советский писатель», 1981. Вышла также в «Роман-газете», 1981, № 9.

Сюжет повести восходит к эпизоду, рассказанному в «Чистых камушках» (1967): по соседству с Михаськой и его родителями бедствует семья – старушка Ивановна и двое ее маленьких внуков, Катька и Лизка, отец которых погиб в начале войны на границе, а мать, работница хлебозавода, стала жертвой несчастного случая, попав под колеса потерявшего управление грузовика.

Ивановна, ее внучки Катя, Лиза и старшая (отсутствующая в «Чистых камушках») Маша становятся персонажами «Голгофы». Но на переднем плане оказываются не они, а невольный виновник трагедии – шофер Алексей Пряхин, его большая совесть, его природная чистота и чуткость, его деятельная самоотверженность.

«Повесть многолинейна, многолюдна. Большинство героев выписаны памятно, но, конечно, особо волнующий след в сердце читателя оставляет Алексей Пряхин, – пишет М. Прилежаева. – Оптимизм драматической и даже трагической повести о человеческих судьбах в том, что веришь: беды не сломят Алексея Пряхина, а доброта, справедливость с ним всегда» (Дороги, дороги... М., «Молодая гвардия», 1980).

Критика обратила внимание на пафос повести, целительный и для растущей, формирующейся души: «Дети «Голгофы» мучительно прозревают: видят, чувствуют – сами израненные и измученные – боль израненного и измученного Пряхина. И мощно звучит светлая мелодия, знакомая и по предыдущим произведениям писателя: прошедшие военное лихолетье, познавшие зло и горе должны – во имя будущего – вынести из всего этого светлый опыт, светлый урок человечности» (А. Комаров. Познай свою доброту. – «Октябрь», 1982, № 2).

В 1986 году на студии «Мосфильм» режиссером Н. Стамбулой по «Голгофе» (сценарий А. Лиханова) снят фильм «Карусель на базарной площади».

Повесть переведена на болгарский, венгерский, чешский и словацкий языки.